

Дети Ра

журнал поэзии

2 (207)

2024

Международный журнал поэзии Союза писателей XXI века

Дети Ра

Сайт журнала <http://www.detira.ru>

ИЗДАТЕЛЬ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»
(Генеральный директор Евгений Степанов)

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Александр Файн
Зураб Церетели

РЕДАКЦИЯ

Евгений Степанов (главный редактор)
Анна Романюк (1-й заместитель главного редактора)
Юрий Милорава (заместитель главного редактора)
Ольга Ефимова (редактор отдела поэзии)
Фёдор Мальцев (редактор отдела критики)

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Алексей Александров (Саратов)
Юрий Беликов (Пермь)
Мария Бондаренко (Лозанна, Швейцария)
Сергей Бирюков (Халле, Германия)
Александр Давыдов (Москва)
Константин Кедров (Москва)
Юрий Милорава (Москва)
Евгений Минин (Иерусалим, Израиль)
Арсен Мирзаев (Санкт-Петербург)
Юрий Орлицкий (Москва)
Сергей Попов (Воронеж)
Елена Сафронова (Рязань)
Андрей Таёров (Москва)
Евгений Харитонов (Москва)
Атнер Хузангай (Чебоксары)
Элана (Саратов)

Автор обложки — Мария Губарь

Компьютерная верстка — Ирина Ракитина

Телефон редакции: тел./факс: (495) 978-62-75

E-mail: stepanovev@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Евгений СТЕПАНОВ.....	5
-----------------------	---

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА НА КАРТЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ

Нина КРАСНОВА. Мечта о лучших временах. Стихотворение	6
Евгений МИНИН. Не одни на земле. Стихотворения	17

ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

Валентин НЕРВИН. Когда настанет срок. Стихотворения	19
Герман ВЛАСОВ. На двойном окне природы. Стихотворения	26
Михаил КУЗЬМИН. Ситуация примерно такая. Стихотворения	32

ПАЛИНДРОМЫ

Александр В. БУБНОВ. По номеру дна... Новые монопы — монопалиндромы.	39
---	----

ОМОГРАММЫ

Александр САВОСТЬЯНОВ. Любимой — медалька	44
---	----

ПОЭМА

Евгений СТЕПАНОВ. Фамилии, имена, псевдонимы. Поэма, написанная в жанре SOS-АПТ	46
---	----

ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

Редакция. Стихи из творческого наследия легендарного поэта. Вступительное слово .	57
Юрий ВЛОДОВ. Стихотворения	57

ОЧЕРК

Наталья МОРСОВА. Этюды о природе	61
--	----

ПРОЗА ПОЭТА

Юрий КАЗАРИН. Немтырь. Думающий стихи. Роман.	64
--	----

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

Евгений СТЕПАНОВ. Февраль–март 2024 года	119
--	-----

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Евгений СТЕПАНОВ. Как улучшить положение дел в литературном процессе: взгляд практика. Статья	124
--	-----

NOTA BENE: КНИЖНАЯ ПОЛКА СЕРГЕЯ БИРЮКОВА

Прочитанные книги:

Геннадий Айги, «Стихотворения»

(Не) видимый снег. Посвящается Айги. Сборник произведений.....	126
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

Книги читали:

Вера КИУЛИНА (Пётр Бывалый, «Интимная лирика»)

Вера КИУЛИНА (Виталий Мальков, «Самый главный начальник. Книга первая. Жрец
государства»)

Мария ИВАНОВА (Софья Оранская, «Летопись любви: Красное-и-Белое»)

Ольга ЕФИМОВА (Лиззи Блу, «Укротившая драконов»)	129
--	-----

Дорогие друзья!

Первый номер нашего журнала уже поступил подписчикам и в магазины «Фаланстер» и «Литлавка».

В новом номере — много стихов, прозы, различных видов стихотворчества — от традиционной силлаботоники до палиндромов и омограмм.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

Нина КРАСНОВА

МЕЧТА О ЛУЧШИХ ВРЕМЕНАХ

ПЕГАС

Запряги Пегаса белой масти
Со своим особенным тавром.
Творчество должно на первом месте
Для поэта быть, не на втором.

На втором, на пятом и десятом
Все другое вечно быть должно,
Это ясно даже и детям,
Это ясно детям даже, но

Если по причине той и этой
Ты нарушишь мест порядок, да? —
Песенку твою считая спетой,
От тебя сбежит Пегас тогда.

Нина Краснова — поэт. Родилась в Рязани. Стихи пишет с семи лет. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Евгения Долматовского). В 1979 году выпустила первую книгу стихов «Разбег» (в «Советском писателе») и была принята с нею в Союз писателей СССР. Печаталась в журналах «Юность», «Москва», «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Студенческий меридиан», «Крокодил», «Обозреватель», «Время и мы» (Нью-Йорк — Москва), «Наша улица», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Другие», в альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Московский год поэзии», «Истоки», «Кольцо А», «ЛитРос», «Русский смех», «Муза», «Эолова арфа», «Золотое руно», «Литературные знакомства», «ЛиФФт», «Яблочный Спас», «Литературная Рязань», «Под небом рязанским», «Чаша круговая» и т. д., в газетах «Литературная Россия», «Литературная газета», «Независимая газета», «Московский комсомолец», «Книжное обозрение», «День литературы», «Слово», «Экспресс-газета», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная гостиная» и т. д., в разных коллективных сборниках и антологиях, в том числе в антологиях «Поэзия. XX век», «Поэзия. XXI век», «Жанры и строфы современной русской поэзии». Автор более 20 книг стихов и эссеистической прозы. Главный редактор альманаха «Эолова арфа». Член Союза писателей СССР с 1980 года, член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века, Союза профессиональных литераторов, Союза писателей Северной Америки, Русского ПЕН-клуба. Лауреат премий им. Анны Ахматовой, им. Рубцова «Звезда полей», Де Ришелье «Изумрудный Дюк», «Янтарный самородок», «Писатель XXI века», номинант и лауреат премии «Парабола», обладатель спецприза Фонда им. Андрея Вознесенского «За талант». Академик МАРЛИ (Международной Ассоциации Развития Литературы и Искусства).

СЛУЧАЙ С РАСКЛАДУШЕЧКОЙ

Я положила гостя, душечку,
Не на кровать — на раскладушечку,

Сама же на кровать легла,
Подальше от его угла.

Но одиноко было душечке
Лежать в углу, на раскладушечке,

И он ворочался, кряхтел
И на кровати спать хотел.

И он под мышку взял подушечку,
Покинул тихо раскладушечку

И, тише пробуя ступать,
Пришел ко мне в постельку спать.

И спал со мною вместе душечка,
И пустовала раскладушечка.

ГОЛУБЬ

Под окошком у меня
Сизый голубь вился.
В клетку блочную мою
С неба гость ко мне явился.

Я его впустила в дом,
В клетку, будто в терем,
Доложить забыв о том
Всяким там тетерям.

Я ли гостю моему
Да не услужила?
Накормила я его,
Напоила я его,
Спать в постельку уложила.

КОРОНА ИЗ САМОЦВЕТОВ

Я для тебя корону смастерю,
Украшу самоцветами с Урала.
Я сны с твоим участием смотрю,
Как серии большого сериала.

Ты — сотрясатель всех ОСНОВ моих
И мой любовный символ в ореоле!
Герой бессменный снов (О, СНОВ!) моих,
В которых Ты — всегда в заглавной роли.

ДЕЛЬМАС В ШАХМАТОВЕ

Танцевала в усадьбе артистка Дельмас.
Для кого, для кого танцевала — для масс?
Не для масс — танцевала для Блока она
И едва не сломала каблук у окна,
«Па» выделявая Карменные,
Сделав бантиком губки карминные.

И стучало под кофточкой сердце Дельмас,
Для поэта стучало оно — не для масс,
И кипела под кожей черная кровь,
И росла у поэта любовь, как морковь,
Как тюльпан, как камыш у мостика.
И сгущалась поэзии мистика...

К КАРТИНЕ К. ФЛАВИЦКОГО «КНЯЖНА ТАРАКАНОВА»

Нет печальнее этой картины,
На которой, прекрасна, нежна,
В мрачных стенах томится княжна
По указу Екатерины,

Чахнет в горьком уединенье.
 Тут не терем тебе, а тюрьма:
 Холод, плесень, да грязь, да тьма,
 Да к тому же еще наводнение.

Сколько Бога она б ни молила,
 А погибнет, права не права.
 Прямо в камеру хлещет Нева.
 Тут тебе и тюрьма, и могила.

Не бывать самозванке на троне!
 Не отнять у царицы трон!
 Увидал бы ее аббат Рокотони,
 Изошел бы слезами он.

Столько в позе ее и в глазах
 Обреченности, устали, муки!
 Оперлася на стену и — ах! —
 И стоит, опустила руки.

Сякнут силы души и тела.
 Самозванка! Божья заря!
 А, пожалуй, не зря, не зря
 Стать царицею ты хотела.

Ты собою и впрямь царица,
 Только некому короновать.
 Крыса лезет к тебе на кровать,
 От напасти спастись стремится.

Мне о том говорит картина,
 Как прекрасна и как нежна
 Заточенная в крепость княжна
 И какая жестокая Екатерина.

«АНГЕЛ АПОЛЛИНЕРА»**С КАРТИНЫ АЛЕКСАНДРА ТРИФОНОВА****1.**

По полю лазурного неба плыл Ангел,
Над грязью земною плыл Ангел-пылАнгел,
Со скрипкой в руках, бессловесно, молчком,
Играя на струнах тончайшим смычком,
Играя мелодию сфер неземных
Для душ не для низменных энных — иных,
Играя для неких возвышенных душ,
Лицо подставляя под солнечный душ.

2.

По небу за Ангелом я полетела.
У Ангела было не тело — полтела
От верха до пояса, было полАнгела
Без признаков пола. Бывает пол Ангела?
Был Ангелом он чистокровным, без пола,
И явным противником был не бейсбола
И разных других разновидностей спорта,
Не спрайта противником также, а спирта,
И секса еще, да по пьянке при этом,
С рожденья у ангелов он под запретом.
Был Ангел надежным помощником Бога,
С картины художника Ангел и с блога.

3.

Летела за Ангелом ангелов стая —
Святая такая, такая святая,
Летела за Ангелом ангелов стая,
Вся тая в тумане и в небо врасдая.
И ангелов этих с бесплотностью тел
Художник увидел и запечатлел.

НА ПОЛУЧЕНИЕ КНИГИ «ТАГАНСКИЙ ДНЕВНИК»

Валерию Золотухину

1.

Кто читал «Таганский дневник»?
 Кто вникал в него, да не вник?
 Он писался интимно, сокрытно,
 Для себя, «совершенно секретно»,
 Каждодневно, системно, настырно,
 Вольно, несторно-монастырно,
 Антицензорно, оригинально,
 Ярко, остро и гениально.
 Кто читал «Таганский дневник»?
 Кто вникал в него, да не вник?
 Там актеры играют без грима,
 Сущность каждого там обозрима,
 Там актеры себя и играют,
 Для бессмертья себя сберегают,
 Все в своих натуральных видах,
 Свой у каждого вдох и выдох.
 Кто читал «Таганский дневник»?
 Кто вникал в него, да не вник?
 Он совсем не для денег писался.
 Автор в нем от рутины спасался,
 Взгляд на мир выражая сократно,
 На себя нападая стократно.
 Это вещь художника смелого.
 Он великое начал с малого.

2.

Сколько в жизни актера
 и драм, и коллизий, и драк.
 То поднимется вверх,
 то опустится жизни кривая.
 Не вести, не писать дневники —
 это может любой дурак.
 Ты попробуй пиши,
 ничего от себя не скрывая.

Свистнул рак на Поклонной,
попал на тарелочку рак.
Кружка пива в кафе
на подносе стоит непечатой.
Не печатать свои дневники —
это может любой дурак.
Ты попробуй-ка их,
ничего не боясь, напечатай.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ В КАФЕ «О.Г.И. ПИРОГИ»

Татьяне Бек

По январской улице Никольской,
Снегочистками почищенной, не скользкой,
Мы идем в кафе «О.Г.И. ПирогИ»,
Занавешенное тюлем пурги.

Там, в подвале в стиле каземата,
Мы забудем, что сейчас в Москве зима-то,
Будем греться, холод в дверь прогоня,
У зажженного поэзии огня.

С Аполлоном будем мы общаться,
Обольщать его собой и обольщаться,
Будем кофе пить и есть пироги,
А потом писать стихи про «О.Г.И.».

ГИМН ВО СЛАВУ ПЕНСИИ

Сбылась моя мечта поэта —
Мечта о лучших временах.
И я пишу стихи про это,
В журнал отдам иль в альманах.

Служила я с высоким смыслом
Во Храме Феба, не греша,
И не имела хлеба с маслом
И не имела ни гроша.

И вдруг алтын светить мне начал
И в мой карман упал с небес.
Все потому, что мне назначил,
Начислил пенсию собес.

Чтоб не надела я удавку
Себе на шею — эй, не смей! —
Он и лужковскую надбавку
Надбавит к пенсии моей.

И буду я тогда буржуйка
И буду рябчиков жевать.
Пока же хлеб со с маслом жуй-ка,
Чтоб дальше жить и выживать.

Пиши, поэт, про то, про это,
Читай родные буквари
И за свою судьбу поэта
Стране спасибо говори.

НА ПОСЕЩЕНИЕ РОДНЫМИ МОГИЛЫ ТАТЬЯНЫ КРАСНОВОЙ В СОЛОТЧЕ

Памяти моей сестры Татьяны Красновой

И предстала ты пред очи Отче,
И пред ним свершила покаянье,
И нашла свое упокоенье
Тут, на светлом кладбище, в Солотче.

Проросла сиренью у оградки,
На своей могиле, как на грядке,
Уходя корнями в прах костей,
И глядишь на нас, своих гостей:

— Это плачут не мои ли
На моей могиле?

ПЛАЧ ПО МОЕЙ МАМЕ

Отделилась у тебя душа от тела,
К Богу в рай пушинкой легкой отлетела,
Поднялась в пространстве сфер неизмеримом,
Как на параселенге незримом.

Мама, твой портрет в серванте, в рамке,
Поминальное вино в бутылке, в рюмке.
Мама, мне хотя не три годочка,
Я твоя навеки маменькина дочка.

Я забросила и Фолкнера, и Пруста.
Без тебя и плохо мне, и пусто.
Без тебя народу в мире не убудет,
Но никто, как ты, любить меня не будет.

В рай душа твоя на небо улетела.
Ну а тело, ну а тело, ну а тело?
Под землей лежит оно в гробу сосновом,
Всем основа жизненным основам.

И едва снежок весенний порастает,
Из твоей могилы травка прорастает,
И лазоревый цветочек прорастает.

РИММЕ КАЗАКОВОЙ

Ты приехала в Москву из Хабаровска,
Из провинцевска, из хибаровска,
Ты приехала Москву покорять,
А не... это... чтобы просто развлечься
И на лаврах, почивая, разлечься
И с друзьями посидеть, покирять.

Ты приехала в Москву из Хабаровска,
Из провинцевска, из хибаровска
Не по ЦУМам и по ГУМам бродить,
За дешевою ломясь колбасою,
И гулять в Центральном парке босою,
А стихи да песни чтобы родить.

Ты приехала в Москву из Хабаровска,
 Из провинцевска, из хибаровска
 На столичном небосклоне блистать.
 Ты в кругу таких поэтов блистала!
 Ты хотела стать звездой и стала,
 И сумела знаменитою стать.

ЗАСТОЛЬНЫЕ ЧАСТУШКИ ПРО РИММУ КАЗАКОВУ

1.

Римма, Римма, Римма,
 Поэтесса Прима!
 За тебя, Риммашечку,
 Выпью я рюмашечку.

2.

Римма, Римма, Римма,
 Ты неповторима!
 За тебя, Риммулечку,
 Выпью я граммулечку.

ЛЕЛЬ ИЗ ПЕРЕДЕЛКИНО к 90-летию Виктора Бокова

Лель из леса, из Переделкино,
 Переделкино-Поределкино,

Вы — искусный плетельщик словес
 И имеете славу и вес.

Гнули Вас в лагерях — не согнули.
 Вы оттель на Олимп сиганули,
 Прямо с нар на Олимп сиганули.

Вас поет и читает народ,
Вам платок не накинув на рот.

Вам исполнилось лет... девяноста?!
То-то Вы задираете нос-то,
Выступаете все на «ура»,
Выдаете стихи на-гора,

Как Везувий, в стихах вулканите.
В Лету Вы никогда не канете!*

* Виктор Фёдорович Боков умер в 2009 году, в возрасте 95 лет. Похоронен в Переделкине, рядом с могилой своего учителя Бориса Пастернака. — *Прим. Н. К.*

Евгений МИНИН

НЕ ОДНИ НА ЗЕМЛЕ

ЗАРИСОВКА

Вечером на остывающих камнях
кошки устраивают ночлег.
И тьмы бесконечное одеяло
укрывает кошачьих бомжей.
В местах постоянной кормежки
я оставляю завтрак.
Пусть проснутся и знают,
что не одни на земле...

* * *

стартует неделя — бегут сумасшедшие дни
будильник для них — стартовый пистолет
захлебываешься во времени — не утони
рано еще болтать с боженькой тет-а-тет
он еще не открыл свой для общения чат
радут ветви вновь молодую листвою
птицы поют за окном кошки рядом урчат
смотрит жена в глаза — если открылись — живой...

Евгений Минин — поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в 1949 году в г. Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живет в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах.

ДОБРОТА

Подобрали собаку на улице,
а кота принесли с помойки.
Мы сделали им прививки
и кормим неплохо, кстати.
А по ночам эта парочка
дрыхнет на нашей койке,
А мы с женою — на коврике,
который возле кровати.

СТАРАЯ КОШКА

Кошка стара — думаешь: вот-вот помрет,
делишь с ней любимый деликатес.
Мы с ней понимаем — страдать будет больше тот,
который останется жить под синью этих небес.

Век кошачий короче, чем век человеческий,
два десятка — и сгорает, как та свеча...
Иногда с облачка спрыгивает под вечер,
чтоб под бок приткнуться, сладко урча...

Валентин НЕРВИН

КОГДА НАСТАНЕТ СРОК

* * *

*Александр Сергеевич Пушкин —
замечательный русский поэт.
Из учебника по литературе*

По дороге на Черную речку
начались Окаянные дни.
Не гаси поминальную свечку,
заодно и меня помяни.

От Воронежа до Магадана,
дорогая Отчизна, пора
помянуть Александра, Ивана,
Михаила, Бориса, Петра...
Мы хлебнули из пушкинской кружки
и до срока сошли в Интернет.

Александр Сергеевич Пушкин —
замечательный русский поэт.

РЕКА

Пока живу на этом берегу
и маятник без усталости качается,
я не могу быть лучше, чем могу —
не получается.
Но время утекает неспроста
по мере человеческой потравы,

Валентин Нервин — поэт, член Союза российских писателей. Автор 17 книг стихотворений. Лауреат литературных премий им. Н. Лескова и «Кольцовский край» (Россия), им. В. Сосюры (Украина), им. Марка Твена (Канада); международного литературного фестиваля «Русский Гофман». Удостоен специальной премии Союза российских писателей «За сохранение традиций русской поэзии» (в рамках Международной Волошинской премии). Лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси». Стихи переводились на английский, испанский, румынский, сербский, украинский языки. Живет в г. Воронеже.

а над рекой ни одного моста
и переправы.
Река течет и вдоль, и поперек;
а для чего дается жизнь иная —
по совести, когда настанет срок,
узнаю.

* * *

Пройду с утра вдоль нашего квартала —
по достопримечательным местам,
где женщина безумная читала
свои стихи собакам и котам.
Предполагаю, что, по крайней мере,
имея первобытное чутье,
все эти замечательные звери
беспрекословно слушали ее.
Безумия таинственные знаки
и слова эмпирический закон
воронежские кошки и собаки
по жизни понимают испокон.
Как проклятый, карябаю бумагу,
а человеку надо по судьбе,
найти обыкновенную дворнягу
и взять ее в товарищи себе.

* * *

...а нам казалось — плыли корабли.
А. Жигулин

...а ежели спросят на Страшном Суде
о жизни моей неудельной,
я им расскажу, как пускал по воде
кораблик простой, самодельный.
Я был капитаном того корабля,
по детски — а как же иначе? —
отважно руля не по курсу рубля,
а прямо по курсу удачи.

На свете хватало воды и огня,
 соблазнов особого сорта,
 но по флибустьерски достала меня
 пробоина с левого борта.

Все наши победы кончались вничью,
 а все поражения — тем паче;
 но детский кораблик плывет по ручью
 навстречу последней удаче.

* * *

Моя весна была простужена
 и безоглядно влюблена;
 миниатюрная француженка
 со мной гуляла допоздна.
 Тянуло сыростью по городу
 и сквозняками от реки,
 мы были счастливы и молоды,
 любой простуде вопреки.
 Земному таинству причастные,
 мы оприходовали дань,
 пока французские согласные
 лечили слабую гортань.
 Переболеем и расстанемся,
 но, как потом ни назови,
 мы не умрем и не состаримся —
 по обе стороны любви.

* * *

Красиво жить,
 позировать молве,
 петь соловьем...

А знаешь, дорогая,
 красивых песен в жизни только две:
 одна о смерти, о любви — другая.

Которое столетье напролет,
во глубине породы изначальной,
языческой душе недостает
веселых песен Родины печальной.
Пока ты распевала соловьем,
на свой филармонический обычай,
любовь и смерть стояли на своем.

Они потом поделятся добычей.

ЧЕРЕМУХА

Ни тело, ни душа
 не находили места —
в такие вечера недолго до греха.
Черемуха была, как шалая невеста,
которая совсем
 забыла жениха.
Наверное, когда
 мистическая сила
по воздуху плыла, по городу вела,
черемуха цвела божественно красиво
и женщина тогда
 черемухой была.
Со временем пойму,
 что все на свете этом
случается на раз и никогда потом,
осыплется душа черемуховым цветом
и снова расцветет
 уже на свете том.

* * *

Все поправимо, кроме одного,
 чему не научили в комсомоле:
 из тех, кого теряю поневоле,
 я не могу окликнуть никого.
 Перечисляю всех по именам,
 но слово распадается на звуки,
 и ветер галактической разлуки
 разносит их по снам и временам.
 Бог принимает нас как таковых,
 не глядя на фамилии и даты,
 не персонифицируя утраты,
 как принято на свете у живых.

НОЧНОЙ ТРАМВАЙ

По следу ночного трамвая
 летят золотые огни,
 до самого Первого Мая
 продлятся пасхальные дни.
 А воздух пропах куличами,
 поэтому тошно чертям
 шататься такими ночами
 по нашим трамвайным путям.
 Гуляй, черноземная рота! —
 любая душа, на пропой,
 усыпана до поворота
 яичной цветной скорлупой.
 Я даже не подозреваю,
 что время глядит на меня
 с подножки ночного трамвая,
 на стыках пространства звеня.

СТРАННАЯ ЖИЗНЬ

Странная жизнь,
похожая на бедлам:
калейдоскоп событий, шумов и лиц —
люди спешат по вымышленным делам
мимо красивых женщин
и певчих птиц.
Время переливается,
как вода,
и растворяется в будничной суете.
Занавес опускается. И тогда
женщины улыбаются
в темноте.

ГОРОДА

Города большие, да и малые,
где шатался вдоль и поперек,
все мои секреты запоздалые
почему-то знают назубок.
Прежде было ветрено и молодо —
походя, сжигали корабли;
дом над Волгой
или дым над Вологдой
многое поведать бы могли.
Что мне, окаянному, икается
в яблоне-вых ялтинских садах?..
Время лечит, память откликается
и в больших, и в малых городах.

ВОКЗАЛ

...Я помню пепельную прядь,
берет, надетый набекрень.
Спросила: — Будешь мне писать?
— Конечно, буду — каждый день.
...Вокзал остался в темноте.
Я не писал и не пишу,
но в привокзальной суете
судьбе, как женщине, машу.

* * *

Деревья никогда не спят
и — во саду ли, в огороде —
чуть ветер — листья шелестят
по человеческой природе.
Есть заповедная страна,
где все по-своему неправы,
но помнят наши имена
деревья, облака и травы.
Они живут накоротке,
чужую память опекая,
и поминутно окликая,
на шелестящем языке.

Герман ВЛАСОВ

НА ДВОЙНОМ ОКНЕ ПРИРОДЫ

* * *

снег протух он пахнет сыростью
затхлостью и умиранием
но смотри с какою живостью
солнце вспыхнуло
за гранью ли

окоемом видит новое
и на стол твой локоть ставит
погляди как разлинована
желтыми лучами скатерть

на оплывшие подсвечники
весь уют твой зимний жалкий
с ледяною глянет вечностью
пролетая в окнах галка

пыли золотой движение
дверь как скрипнувшее слово
это ты в свой день рождения
и на воздух выйдешь снова

умирает снег и корчится
виноватой берестой
и тебе сегодня хочется
быть апрельскою листвою

Герман Власов — поэт. Родился в 1966 году в г. Москве. Окончил филологический ф-т МГУ, где изучал поэзию Баратынского и Гумилёва (семинар А.М. Пескова), член студии И.Л. Волгина «Луч». Поэт, переводчик, эссеист. Лауреат премии Фазиля Искандера (2021), автор книг «Мужчина с зеркалом овальным», М., 2018, «Серебряная рыба золотая», М., 2020, «Пузыри на асфальте», Киев, 2021, «Птица с малиновой грудкой серая», М., 2023 и др. Стихи публиковались в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Звезда», «Новый берег», «Дети Ра», «Зинзивер» и др.

* * *

Мы прошли мужчину с горном,
с проволокой вместо ног,
слова сглатывая горлом
невесомый холодок.

Полуспиленные в парке
липы, шебурша листвой.
И старухи, будто парки,
открывали рот пустой,

черный, как асфальт. У будки
асфodelи не цвели.
Ждали мы чужой попутки,
мы своей не завели,

личной. Обретая личность,
мялись, мерзли, как никто.
И цветное, как античность,
подхватило нас авто.

И водила с длинным носом
и кудрявой головой
посмотрел, и без вопросов
мы отправились домой

от Коцита и Нимфеи,
Персефоны и вина,
ибо всякого орфея
ждет в Сокольниках жена.

Узнавали город снова —
с тленьем смешанный елей;
и держали в горле слово,
от которого теплей,

слаще, проще, глубже, тоньше;
берегли, как дефицит,
твердо веруя, что больше
не переступить Коцит.

* * *

преступно пробивая бересту
железо в раны вкладывать преступно
как вор цедить прозрачный на свету
нектар словесный если неотступно

в гудении весенних новых сил
во рту в ушах приток венозной крови
он вспыхивает будто керосин
и капает как дождь с железных кровель

не нарушая заданный объем
он наполняет вымысел по горло
всю комнату и мешковину в нем
в сонорных гласных в общем как не гордо

но правильно пройти наискосок
всю жизнь когда она не гать но поле
как собирать в апреле сладкий сок
и пить его и говорить не боле

НА КАРТИНУ КАРАВАДЖО «ОБРАЩЕНИЕ САВЛА», (1600–1601)

Разве имя сменивший отбросит меч,
разве реки вспять потекут?
Но, плашмя упав, забывает речь
и навис лошадиный круп.

И копыта тяжки его коня,
и грохочет: Из Тарса Савл, —
вторит: Савл, зачем ты гонишь Меня?
Это Павел, не Савл упал.

Он встает, пошатываясь, другим,
потирая плечо, ребро.
Говорит: Я Твой слуга, Господин.
Медяки раздает, серебро.

Удивлен ли был или озарен,
обращен как к морю река?
Но был взят на службу другим Царем
и ветра — несли облака.

* * *

Мелованная белая сойдет
и, на угол стола поставив локоть,
я напишу, что этот новый год
устал дверьми дурных известий хлопать.
Но перышко, скрипя, свершает ход
и сквозняка прохватывает шепот.

Скрепя в чернилах знание с добром,
зоб щекоча и вызывая слезы,
мы призовем весенний первый гром,
отменим на стекле чеканку розы.
Лед вскроется, на Созь пойдет паром,
и свет, и цвет войдут в метаморфозы.

Я знаю берег, этот берег ждет,
он манит свежевызревшим магнитом.
Русалка там, богатырей обход,
ученый кот и старица с корытом.
И дед-рыбак — он бороду скребет,
не ведая, что стал он знаменитым.

Итак, от маеты до вешних вод —
борец Иаков, парусная лодка,
движение кистью, сон, двоичный код —
все это каллиграфии походка.
Щепоть созвездий сеет семена
и раздает цветенью имена.

О твердый грифель, палочка, стило,
скрипи, тверди, вычеркивай, где плохо.
Но отмечай затмения и гало;
вставай, расти, упорство и эпоха.
Мы убежали язвы и войны:
раскрой скрижали, ибо мы — не мы, —

но сгусток смысла, детская ладонь,
ноздрями шевелящий, красный конь.

ТЕСНИТ ДЫХАНИЕ

Ни боль, ни знание, но сила и магнит —
теснит дыхание и речь мою теснит.
Словесно выльется, прикажет: Отпусти.
На волю вырвется скудельной из горсти.

За далью даль, за женкой муженек.
А я на память свой оставлю перстенок.

Уныло здание, где умирал пиит —
теснит дыхание, дыхание теснит.
Ночь в январе темна, кабы еще денек!
Такие, брат, дела. Любимый перстенок
отдам на память собирателю словес.
Безделка, камень, а все легче до небес,
сложив старание, подняться одному.
А я дыхание в том камне преломлю.

* * *

Взять себя в кулак, разжать
и — расплакаться, влюбиться;
птицу взглядом провожать,
с птицею летящей длиться.

И на станции одной
оказаться на платформе
в будни или выходной
выросшей сосны покорней

и решительней тропы
цвета извести, суглинка.
Все мы беглые рабы
городского поединка.

Скройтесь в темные леса,
птицы, звери и народы —
первой влаги полоса
на двойном окне природы.

Так скрывайся и молчи,
сетуй, не греми вещами.
Не нашел впотьмах ключи —
разговаривай ключами.

Михаил КУЗЬМИН

СИТУАЦИЯ ПРИМЕРНО ТАКАЯ

ИЗ ЧАСТНОГО ПИСЬМА

«Абсурд
размазывает тебя и меня
по поверхности
утраченного рая,
но это не мешает нам
чувствовать себя
счастливыми».

* * *

*Канцелярские товары
против
бюрократизации мышления!*
Красивый рекламный лозунг,
надо бы его
продать
какому-нибудь
супермаркету
или торговой фирме.
Вдруг, и правда,
пригодится.

Михаил Кузьмин — поэт, журналист, художественный критик. Автор книг «Дом, отапливаемый утопиями», «Дневные листья — ночные корни», «О. поэтах. и. о. поэзии», «Летопись молчания», «Я жалуюсь на свое воображение» (Mi lamento della mia immaginazione — билингва), «Расстояние между галактиками» (Galaksien välisestä etäisyydestä — билингва), «Музей разогнанных облаков». Живет в Санкт-Петербурге.

ИЗ ЦИКЛА «НОВЫЕ СКАЗКИ»

ВКУСОВЫЕ СТАНДАРТЫ

У одного отца
 было три сына.
 Сладкий сын,
 соленый сын
 и кислый...
 Они часто спорили о том,
 о чем не спорят.
 А не спорят,
 все это знают,
 о вкусах.
 И вот однажды
 три брата
 так заспорили о своих вкусах,
 точнее говоря, так разругались,
 что совершенно
 обезумевший сладкий брат
 убил своего соленого брата.
 Кислый брат так возмутился,
 что убил своего сладкого брата.
 Не по злобе,
 а исключительно из-за вкусовых ощущений.
 А сладкий брат,
 уже умирая,
 все-таки прибил
 своего кислого брата
 большой сладкой грушей.
 А, может, и кислой...
 Теперь уже
 и не проверишь.
 И с тех пор
 три брата
 уже никогда
 не спорили о вкусах.

РЕПЛИКА В СПОРЕ

Знаменитый Воланд
тоже ведь
когда-то
был
волонтером.

* * *

Трудно быть
пророком
в пустыне информации.
Зато там
можно
постоянно изобретать
миражи истины...
Пардон,
оазисы гениальности.

НОСТАЛЬГИЯ-МЕЛАНХОЛИЯ

Геннадию Айги

Вчера
07.06.05
тянуло в прошлое
а сегодня
08.06.05
уже не тянет

* * *

С какого-то перепугу
кажется
из-за таяния снегов
на Монблане

он стал поклоняться
богу ветра
то ли Аквилону
то ли Зефиру

и теперь все книги
которые он читает
не выветриваются
у него
из головы

ОБУВЬ ПОЭТА

Левый ботинок —
от восхода до солнца
Правый —
от заката до луны.

Но почему-то поэт
забывает надеть ботинки
и разгуливает
по Вселенной
босиком.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАМИЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Соколов Воробьёв Дроздов Ласточкин
Волков Медведев Лисицын Кабанов
Ручьёв Озеров Морев Водопадов
Травкина Цветкова Листьева Орехова
Ромашкина Гвоздикина Астрова Земляникина
Морозов Снегов Громов Ветров
Глазов Носов Бровкин Усатов
Топоров Молотов Гвоздёв Зубилов
Углов Шаров Точкин Линейкин
Ложкин Вилкин Тарелкин Чайников

Иванов Петров Сидоров
и опять Иванов...

СПОРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Ситуация примерно такая:
сочинит кто-то стихи
из какого-то сора
и хвастается

своим
нежданно-негаданным творением.

А ему в ответ:
это гениально!
Это настоящий шедевр...

А если стыдно
сочинять стихи
из мусора?

Из грязи, которая не ведет в князи,
а затягивает в преисподнюю...

И потом, что это за стихотворение,
которое не ведает стыда?

Нечто в духе Ивана Баркова
или Comedy-club?

ДОВОЖУ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ...

Виктор Петрович Слон
Марта Алексеевна Кенгуру
Аполлинарий Аркадьевич Жираф
Лидия Максимовна Змея
и конечно
Борис Федорович Медведь
каждый день
встречаются
в городском зоопарке
и говорят
говорят

говорят
на языке
который уже давно
внесен
в Красную книгу человечества!

* * *

ОСТОРОЖНОСТЬ —
В сущности
это отрезвляющее лекарство.
Допустим
вы смотрите на мир
сквозь
розовые очки —
и вам все нравится.
Затем вы проглатываете
таблетку осторожности —
и видите мир
во всей
его первозданной красоте,
и это вам нравится
еще больше.

ИЗ ЦИКЛА «НОВАЯ МЕТАФИЗИКА»

Силлогизм.
С самого раннего детства.
дружит
с древнегреческим философом.
Сократ, как известно,
человек,
и он, увы, смертен.
А силлогизм,
это тоже всем известно,
не человек.
И, видимо, поэтому
он бессмертен.

ИЗ ШКОЛЬНОГО СОЧИНЕНИЯ. 2005 ГОД

Воспаряю над реальностью...
Почему воспаряю?
Просто летаю.
Вчера я поднялся на высоту
десятиэтажного дома.
Полетал, посмотрел,
что творится внизу.
Мало интересного.
Люди, машины,
самокаты, скейтборды.
Сегодня я уже летал
на высоте Эйфелевой башни,
вниз не смотрел,
просто думал о том
«Почему экзистенциализм
был так популярен в Европе?»
Завтра попробую
взлететь на тысячу метров.
Не знаю,
брать ли мне с собой зонтик.
Свитер точно возьму.
Не хочется простужаться.

* * *

Прочитал коан?
Прочитал.
Полегчало?
Нет,
но коан
понравился.

Александр В. БУБНОВ

ПО НОМЕРУ ДНА...

(новые монопы — монопалиндромы)

* * *

моноп пилил саму арфоклаву!
вал кофра умаслил иппоном!

18.01.2024

* * *

кич по номеру дна —
бандуре монопчик

16.03.2024

НЕ ЧИТКА ТЕНЕЙ!

он, арапчик, ясен:
он дарил и взял,
и молил, и ломил,
язвил и рад,

но,
неся кич паранойе,
нетактичен...

20-30.01.2024

* * *

кони,
ро'сы...

плот,
сани ли?..

пути
манили.

рады мы быть —
ты, вы, мы —

далили нам
и тупили нас
толпы соринок

04.07.2021,
30.11.2023

* * *

у рта —
дно
и воля!..

ему выдал я... луну!
сумел!
...и торт!

...и тротил ему сунул я —
лады?!
в уме я?!

— лови ондатру!

28.02.2024

* * *

он сер — пион,
на мутаген зол

(...)

лоз негa, туманно...
и пресно!

24,25.01.2024

МИНОР

ох, чем не мор говорил
и ров огромен?
— меч хороним.

01.11.2023

* * *

тон пустоват?
я беру
с самого хита тихого
массу:

— ребята, вот
суп нот!

18,21.01.2024

* * *

карбонад или карбонат?..
упал!
шутя, бери месиво ран
и меси тесто

...

от сети семинаров
и семи ребят
ушла путано.
брак или...
дано —

БРАК

*12.02.2024,
16.03.2024*

* * *

— кич, роди рок!

...в лапы вынул сонно сон,
но с луны выпал в коридорчик
23,24.11.2023

* * *

— шабан?
— шабун!
— ну, баш на баш.
27.01.2024

* * *

— я на Вымени, Маня!
— на Мине мы, Ваня!
12.12.2023

* * *

...на плане —
срамота

...

и лупато нежит —
сив скакун

...

ну как? свисти же,
нота пули!

...

атом.
арсенал.
Пан...

24,25.01.2024

* * *

идите!
укровины капали,
вал гудел соплями

...

и мял по следу глав и лап
акын,
и воркует: «иди!»

*04.10.2023,
05.02.2024*

Александр САВОСТЬЯНОВ

ЛЮБИМОЙ — МЕДАЛЬКА

* * *

МЕЧ — ТАМ, ДОРОГУША, РАДА?!
МЕЧТАМ — ДОРОГУ!.. ШАРАДА.

* * *

УДАЧИ! ПРО РОК СПАСИБО! —
У ДАЧИ ПРОРОК СПАС ИБО...

* * *

ЛЮБ И МОЙ МЕД, АЛЬКА?
ЛЮБИМОЙ — МЕДАЛЬКА!

* * *

ТРОЛЛЬЧАТА, ИПАНЬКО!
ТРОЛЛЬ ЧАТА И ПАНЬКО...

Александр Савостьянов — поэт. Обладатель премии Серебряное Перо Руси Международного конкурса «Национальная литературная Премия Золотое Перо Руси – 2016», а также призер и лауреат многих международных и всероссийских конкурсов и премий. Печатался в международном авангардном журнале «Тело Поэзии» на Мегалите, журнале литературного и художественного авангарда «Другое полушарие» (г. Москва), «Журнале ПОэтов», Всероссийском литературном журнале «ЛиФТ» (г. Москва), всесоюзном журнале «Рабочая смена» (г. Минск) и других журналах и альманахах, в областных газетах Бреста, Гомеля, Брянска, Архангельска. Член МА МПМ (МСПС), Союза брянских литераторов, Русского литературного клуба и Футурсобрания.

* * *

ИТОГО, МОНСИНЬОР :)
И ТО! — ГОМОН, СИНЬ, ОР...

* * *

ЛИК БЕЗУМНЫХ... ВЫ ЖИЛИ?
ЛИКБЕЗ УМНЫХ: ВЫЖИЛИ!

Евгений СТЕПАНОВ

ФАМИЛИИ, ИМЕНА, ПСЕВДОНИМЫ

(поэма, написанная в жанре SOS-АПТ)

У этой поэмы нет начала.

Иван Грозный
Скуратов
Курбский

Протопоп Аввакум
Морозова
Урусова

Пётр Первый
Меньшиков
Демидов

Пушкин
Лермонтов
Некрасов

Толстой
Достоевский
Гоголь

Мусоргский
Чайковский
Глинка

Чехов
Щепкина-Куперник
Левитан

Растрелли
Монферран
Шехтель

Иванов
Верещагин
Ге

Лесков
Дорошевич
Гиляровский

Гаршин
Успенский
Успенский

Максим Горький
Саша Чёрный
Дон Аминадо

Николай II
Распутин
Керенский

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, режиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

Рябушинский
Морозов
Парвус

Анненский
Гумилёв
Ахматова

Блок
Есенин
Мандельштам

Хлебников
Бурлюк
Кручёных

Волошин
Гуро
Хабиас

Маяковский
Брик
Брик

Шагал
Гончарова
Ларионов

Якобсон
Шкловский
Тынянов

Эйхенбаум
Шапир
Лотман

Дягилев
Бакст
Павлова

Ленин
Сталин
Дзержинский

Ежов
Берия
Ягода

Пантелеев
Котовский
Япончик

Радкевич
Кошельков
Савин

Жуков
Роковоский
Ватулин

Матросов
Кожедуб
Панфилов

Шолохов
Платонов
Гроссман

Эйзенштейн
Орлова
Александров

Станиславский
Немирович-Данченко
Вахтангов

Мейерхольд
Райх
Таиров

Яншин
Грибов
Степанова

Андровская
Прудкин
Плятт

Рахманинов
Свиридов
Гаврилин

Панина
Вертинский
Церетели

Шаляпин
Козловский
Козин

Родченко
Степанова
Татлин

Фатьянов
Лебедев-Кумач
Дунаевский

Бобров
Хомич
Яшин

Стрельцов
Симонян
Воронин

Попенченко
Лагутин
Зуев

Ладынина
Пырьев
Марецкая

Симонов
Бек
Кармен

Стаханов
Бусыгин
Ангелина

Хрущёв
Брежнев
Андропов

Королёв
Курчатов
Гагарин

Левитан
Синявский
Озеров

Фурцева
Ефремов
Неизвестный

Столпер
Ростоцкий
Крючков

Меркурьев
Жаров
Чирков

Слуцкий
Самойлов
Левитанский

Коган
Кульчицкий
Майоров

Деген
Гудзенко
Наровчатов

Ширман
Кубанёв
Отрада

Берберова
Несмелов
Перелешин

Елагин
Анстей
Синкевич

Рождественский
Вознесенский
Окуджава

Высоцкий
Ахмадулина
Аксёнов

Арбузов
Розов
Володин

Марков
Михалков
Семёнов

Чуковский
Маршак
Успенский

Вертов
Протазанов
Роом

Тарковский
Шпаликов
Гулая

Бурляев
Кончаловский
Иоселиани

Зиди
Бельмондо
Биркин

Филатов
Золотухин
Шацкая

Мельников
Коренев
Казаков

Сахаров
Боннэр
Яковлев

Толстомятов
Толстомятов
Колчин

Шатилова
Кириллов
Балашов

Лихитченко
Веденеева
Николаев

Тухманов
Пахмутова
Добронравов

Танич
Ошанин
Шабров

Дашкевич
Ким
Камбурова

Визбор
Городницкий
Матвеева

Егоров
Луферов
Мирзаян

Анчаров
Бачурин
Дольский

Тарасов
Чернышёв
Кулагин

Тихонов
Юрзинов
Тузик

Михайлов
Петров
Харламов

Давыдов
Мальцев
Васильев

Балдерис
Жлуктов
Капустин

Шадрин
Якушев
Зимин

Кипиани
Мачаидзе
Мачаидзе

Перетурин
Орлов
Дмитриева

Ерёмина
Саркисянц
Маслаченко

Алексеев
Ригерт
Варданян

Яценко
Тихонов
Бубка

Спасский
Карпов
Каспаров

Гаприндашвили
Чибурданидзе
Мельник

Махарадзе
Чиаурели
Абуладзе

Лобановский
Блохин
Заваров

Ермаш
Костиков
Лапин

Зорин
Сейфульмулюков
Боровик

Бовин
Переверзин
Сагалаев

Лысенко
Шахова
Вульф

Листьев
Любимов
Политковский

Додолев
Боровик
Мукусев

Григорович
Васильев
Васильева

Шнитке
Губайдулина
Денисов

Запашный
Бугримова
Кио

Никулин
Карандаш
Попов

Нуриев
Глазунов
Павлова

Любимов
Эфрос
Ефремов

Крамаров
Сичкин
Видов

Бондарчук
Балаян
Мережко

Чухрай
Калатозов
Лиознова

Довженко
Параджанов
Балаян

Самойлова
Брыльска
Алентова

Дога
Лотяну
Тома

Кеосаян
Асанова
Сурикова

Бродский
Кривулин
Хвостенко

Сопровский
Казинцев
Дмитриев

Брассанс
Гензбур
Брель

Утёсов
Бернес
Северный

Шеварднадзе
Алиев
Щербицкий

Пуго
Рашидов
Назарбаев

Кравчук
Шушкевич
Ельцин

Пеньковский
Гордиевский
Калугин

Пельше
Громыко
Кручина

Тимофеев
Иваньков
Кумарин

Яковлев
Добрынин
Адамишин

Яковлев
Маневич
Салье

Горбачёв
Ельцин
Бурбулис

Головков
Гайдар
Чубайс

Русева
Жуков
Боос

Собчак
Березовский
Бородин

Новодворская
Якунин
Щекочихин

Гдлян
Иванов
Гуров

Джуна
Чумак
Кашпировский

Попов
Лужков
Станкевич

Орджоникидзе
Ресин
Росляк

Абрамович
Дьяченко
Юмашев

Петров
Филатов
Иванов

Путин
Михельсон
Сечин

Тимченко
Ковальчук
Ротенберг

Митрополит Кирилл
Митрополит Иларион
Митрополит Варсанофий

Медведев
Шойгу
Лавров

Бортников
Зубков
Чемезов

Усоян
Ониани
Калашов

Кудрин
Силуанов
Нарышкин

Эрнст
Добродеев
Венедиктов

Брилёв
Киселёв
Соловьёв

Пушков
Зейналова
Фадеев

Ургант
Познер
Караулов

Греф
Кириенко
Володин

Матвиенко
Зюганов
Жириновский

Миронов
Набиуллина
Кузьминов

Собянин
Полтавченко
Ткачёв

Тулеев
Кадыров
Минниханов

Цивилёв
Алиханов
Никитин

Меркушкин
Шанцев
Абдуллатипов

Артамонов
Хамитов
Аксёнов

Дудка
Белых
Хорошавин

Миллер
Усманов
Фридман

Потанин
Мельниченко
Лисин

Евтушенков
Рыболовлев
Дерипаска

Алекперов
Мордашов
Вексельберг

Прохоров
Прохорова
Хачатуров

Шохин
Варданын
Гальперин

Ходорковский
Навальный
Касьянов

Ахеджакова
Фатеева
Светличная

Михалков
Табаков
Поляков

Безруков
Машков
Миронов

Боярский
Басилашвили
Фрейндлих

Этуш
Ширвиндт
Державин

Сухоруков
Маковецкий
Дюжев

Максакова
Вороненков
Полонский

Туминас
Коляда
Гришковец

Башмет
Спиваков
Хворостовский

Дробыш
Добрынин
Матвиенко

Расторгуев
Аллегрова
Шатунов

Хабенский
Хаматова
Балуев

Пархоменко
Альбац
Ганопольский

Пугачёва
Галкин
Крутой

Макаревич
Гребенщиков
Белый

Кобзон
Розенбаум
Газманов

Киркоров
Басков
Лепс

Ваенга
Валерия
Пригожин

Лещенко
Винокур
Петросян

Михайлов
Резник
Вулых

Шнуров
Макаревич
Гребенщиков

Балабанов
Бодров
Сухоруков

Абрамова
Акиньшина
Шпица

Лолита
Цекало
Лепс

Джигурда
Анисина
Гузеева

Фетисов
Третьяк
Роднина

Буре
Исинбаева
Плющенко

Кабаева
Хоркина
Журова

Шахназаров
Тодоровский
Учитель

Поклонская
Яровая
Железняк

Василевский
Василькова
Васильева

Кублановский
Губайловский
Кушнер

Гуцериев
Улюкаев
Губерман

Глазунов
Шилов
Сафронов

Кенжеев
Гандлевский
Цветков

Толстая
Лимонов
Рейн

Шайтанов
Архангельский
Балла

Битов
Попов
Улицкая

Проханов
Прилепин
Быков

Есин
Тарасов
Варламов

Ремчуков
Ремчукова
Лесин

Айги
Бирюков
Констриктор

Красовицкий
Авалиани
Мельников

Казарин
Ефимова
Ивкин

Фортов
Калягин
Гусев

Райкин
Захаров
Волчек

Иванов
Петров
Сидоров

Ротшильд
Рокфеллер
Зеленский

Патрушев
Вайно
Белоусов

Суровикин
Залужный
Сырский

Герасимов
Пригожин
Песков

Гордон
Арестович
Невзоров

Мардан
Шахназаров
Михеев

Скабеева
Куликов
Скачко

Обама
Трамп
Байден

Кузнецов
Степанов
Стаканов

Влодов
Евтушенко
Пеленягрэ

Балтин
Киулин
Марговская

Полозкова
Акунин
Козырев

Нетаньяху
Блинкен
Столтенберг

Си Цзиньпин
Ким Чен Ын
Раиси

Вучич
Орбан
Фицо

Лилипутин
Гулливеров
Бессмертных

И еще несколько фамилий.

Поэма не закончена.

2017, 2018, 2023, 2024

СТИХИ ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОЭТА

Юрий Влодов — легендарный поэт, который оставил после себя большое литературное наследие.

Мы регулярно на страницах нашего журнала печатаем стихи из этого наследия.

Сегодня предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, произведения из цикла «Пушкин», написанные (предположительно) в восьмидесятые годы прошлого века.

Публикацию подготовила вдова поэта Людмила Осокина (Влодова).

Редакция

Юрий ВЛОДОВ
(1932-2009)

ПУШКИН

* * *

О балы мои далекие!
Колокольца снежный звон!
Неопознанные локоны
В бликах елочных окон...

Зажигали свечи чистые...
Заполняли синевой...
Полонезами лучистыми
Плыли зимы над Невой.

И на санные излучины —
В запах милый, меховой —
Опускался кто-то мученный
С эфиопской головой...

Юрий Влодов (1932–2009) — поэт. Автор всенародно известных строк: «Прошла зима. Настало лето. Спасибо Партии за это». Родился в г. Новосибирске в театральной семье. Свою творческую карьеру поэт начал в 50-х годах, первые публикации появились именно в это время. Общался с Б. Пастернаком, И. Сельвинским, К. Чуковским, А. Твардовским и другими классиками. Они его признавали и прочили ему большое поэтическое будущее. К сожалению, судьба поэта сложилась не так гладко. Его не печатали, не издавали, ни в каких творческих союзах он не состоял.

И взлетали галки снежные
Из-под санного ножа!
И была метель мятежная
Оглушительно свежа!

* * *

Когда на клейкий подоконник
Зарю обронит глупый птах,
Когда пастух — сопливый конник
Промчится с гиком на устах,

Я буду спать — башкой в тужурку,
В мышинном сене и пыли...
Но в оловянную мазурку
Вхожу я с теплой Натали...

И свечи светятся морозно!
И рыжий гений смотрит грозно!...
Ах, притча века — Натали!

Звенят браслеты грациозно,
И пахнут вольно и березно
Запястья сельские твои...

* * *

Светлело, а гусиное перо
Резвилось, как младенец неразумный,
И глаз косил безбожно и хитро
На этот мир — застенчивый, но шумный.

Пищала птаха, тихо зрел ранет,
Сварливый клен под окнами возился...
«Ужо тебе!» — воскликнул вдруг поэт.
И кулаком чернильным погрозился.

«Ужо тебе!» — и весело со лба
Смахнул волос воинственную смуту...
Не знала Русь, что вся ее судьба
Решалась в эту самую минуту.

* * *

Слетают листья с Болдинского сада,
И свист синицы за душу берет.
А в голубых глазах у Александра
Неяркое свечение берез.

Суров арап великого Петра!
А внуку — только детские забавы...
Он засмеется белыми зубами
Под легкий скрип гусяного пера.

«Ребятунки! Один у вас отец!..»
И на крыльце — Пугач в татарской бурке...
А на балах, в гранитном Петербурге
Позванивает шпорами Дантес...

На сотни верст глухой и гулкий лес...
Тебя, Россия, твой изгнанник пишет...
Вот он умолк... А, может быть, он слышит
Прощальный крик гусей из-под небес?!..

Она все ближе — теплая зима,
Где выстрелы, как детские хлопушки,
Где в синий снег падет руками Пушкин,
И из-под рук вдруг вырвется земля...

И Натали доложат: «Он убит».
Ей кто-то скажет: «Вы теперь свободны».
И с белых плеч сорвется мех соболий,
И медальон на шее задрожит.

Пробьется луч весенний, золотой.
И будут бить на празднике из пушки.
И только под Михайловским, в церквушке,
Звонарь встревожит колокол литой...

Ну а пока — туманная пора.
Все в липкой паутине бабье лето.
И небо — в голубых глазах поэта!
И нервный скрип гусяного пера...

* * *

Под чугунным небосводом,
Над крестьянским Чёрным бродом,
Где болотом пахнет муть,
Где ночами лезет жуть,
Над безвинной русской кровью,
Над захарканной любовью
Пушкин плачет у ольхи:
Жизни нет, а что — стихи?!

* * *

Пушкин с Гоголем сидели,
Много пили, мало ели.
И, смакуя дым глотками,
Все чадили чубуками.
Поболтать бы, да о чем? —
Лучше — ноги калачом.
Вдруг ощерился поэт:
«Тридцать лет, а проку нет!
Недоступна мне пока
Глубь родного языка! —
По листу перо бежит,
Но — споткнется, задрожит,
Что кораблик на волне...
Тайну чует в глубине!..»
У Великого Хохла
Бровь к пробору поползла.
Усмехнулся? — вроде — нет.
Два кивка — и весь ответ.
Поболтать бы, да о чем?
Гоголь, вроде, ни при чем.

Публикация Людмилы ОСОКИНОЙ (ВЛОДОВОЙ)

Наталья МОРСОВА

ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ

В РАЙСКОЙ ОБИТЕЛИ

Если меня спросят, где найти рай не земле, я покажу вам райскую обитель на высокой скале необжитого берега живописного Ладожского озера. Седые скалы, обросшие можжевельником, вереском, могучими соснами и белыми мхами, величаво вознесенные над запоевным миром, — свидетели Великого Творения. А под скалой бушует озеро глубокое, грозные волны бьются о камни гремучие, разливаются, пустынный берег ласкают и смиренно катят в пучину морскую, чтобы обрушиться вновь. Моторная лодка скользит по вспененным волнам меж узких расщелин, коварных шхер, нависших над водой «бараньих лбов», мчит к оплоту православия на русском севере — Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю.

Я — в краю непуганых зверей и вольных птиц, в обители густых снегов, в юдоли скал гранитных. Кругом тайга. В неведомую даль течет таежный лес, с полярным ветром песню завывает и по упавшим соснам горестно рыдает. Камни-валуны срываются в пучину вод, грохочут, зверя пугают. Мои соседи — лоси, выдры и волки, медведи, белки, рыси и бобры, белокрылые чайки, беркуты и отважные соколы, — они хозяева тайги.

Буйство разбуженной волны, угрюмая задумчивость глуши, журчание лесных речушек, рокот прибоя вызывают преклонение перед необъяснимым. Здесь предки наши жили, с природными стихиями дружили — хлеб сажали, детей растили. Долгими зимами, при лучине, рождались былинные сказания отважных охотников и смелых мореплавателей, здесь и в моем ковчеге рождается строка.

В преддверии зимы жду становления льда, ах, какое таинственное зрелище! Вздрыбленные льдины смерзаются, толкаются, трещат и грохочут, словно рык грозного зверя, будто уханье разъяренного водяного. А по весне лед хлопается, колотые льдины звонятся.

В подвенечном убранстве теперь зима, щедро усыпанная жемчугами, поскрипывает обильными снегами, сияет пышными барханами, хрустит звонким настом, вьется березовым дымом из жарко натопленной печи. Тяжелым бременем ложатся снега на разлапистые сосны, плотным покрывалом укутывают ельник, клочьями виснут на длинноколых березах. Еще вчера лес протяжно гудел и жалобно стонал, а сегодня ветер укротил свой нрав и замер.

Сквозь сизую мглу пробирается зимнее солнце, и зоревый костер огнем брусничным пленит пылающую на горизонте лазоревую высь. Звень чистая струится в небесах. Студеный воздух недвижим, не тронет стылым дуновением заиндевелый лес, не шелохнет оцепеневшее кустовье. И только стук моего сердца нарушает глухую тишину.

А ночью космос, кипящий звездами, разверзнется необозримой благодатью, и распадется бездна, захватывающая дух, там доблестный Персей в сандалиях крылатых бросает страстный взор прелестнице Кассиопее. Полярная звезда засмотрится в мое окно, вдаль уходящий Млечный путь прольется белым молоком. И я пронзительным лучом вольюсь в неудержимое движение света. Празднично в ночную морозень, блистают небеса феерией огня. Сияние Севера полощется нарядными крылами, и дивным светом озаряется земля. Сверкают арабески яркими огнями, и освещаются угрюмые леса, седые скалы просыпаются от сна. В природе замирение, и будто замерло вселенское движение, застыла утомившаяся вечность.

Угасла долгая зима, и лето празднично играет на лугу. Зарница-молодица с утра веселится, подмигивает, золотым блаженством в небесах разливается. И птицы райские рассвету радуются. В клубах белесого тумана парит тропинка озорная, росными каплями травы звонятся, молодые елочки шепчутся, дуплистые березы поскрипывают. Блаженством, благодатью и теплом дышит земля, для всего живого объятья раскрывает.

В обители моей есть все, что радостно душе, — покой, и воля, и восторг полета с легкокрылыми птицами над озерами привольными и скалами суровыми, с кометами и звездами, уходящими в вечность. Грозами и ливнями небеса говорят со мной. И нет милее земли родной. И я распахиваю руки, обнимаю бескрайнюю тайгу: — Я люблю тебя, жизнь! — и катится мой голос в гремучих сопках, и откликается тайга далеким эхом.

Пленительная власть Севера рождает восхищение капель росы на листке одуванчика, неброской красотой полевой ромашки, робким взором застенчивого василька, отражением белой ночи в лесной ламбушке, туманной дымкой над влажной низиной, лосиными тропами, волшебными видениями у жаркого костра. Здесь властвует гармония и торжествует вечность бытия. Исполненная мощью и свободой, со мной беседует природа.

Созвучие с природой — вот простое и бесхитростное мое существование, ставшее дорогим и близким. Природа живет по своим законам, ей чужды лесть, фальшь, хитрость, предательство. Целительным огнем она освещает путь к истине, отлаживает струны души, пробуждает уснувшие чувства, насыщает душевной щедростью. Природная благодать не позволяет быть злым, трусливым, завистливым, здесь не надо играть роль добряка, весельчака, пустослова. Тут в унисон бьются наши сердца.

Познав однажды несчастье, понимаешь, что такое счастье, — как награда, как подарок Свыше. Счастье — не красота и богатство, это ощущение безмятежности, воли и свободы, которой в избытке в моей скромной обители. И, словно очарованный странник, я радостно иду по жизни, не устывая удивляться мудрости, заложенной в природе, восхищаться гармонией первозданного мира и радоваться тому, что человеку есть место на планете Земля.

КАК БЕЛКА ПОБЕДИЛА ЯСТРЕБА

На разлапистой сосне ловко прыгает рыжая белочка. К ее животику прицепился новорожденный бельчонок, — это семейство переезжает на новую квартиру. В дупле, выложенном пухом, мхом и сухими листьями, ее поджидают бельчата. Mamочка кормит малышей ягодами, грибами, сосновыми, еловыми и кленовыми семенами. Белки не уходят на зимовье в теплые края, — маленькой трудяге надо сделать большие запасы.

Белочка нашла грибок и приготовилась закопать его под кустом. Но ее преследует хвостатый шпион, — другая белка бежит по пятам и подглядывает за чужими кладовыми. Хитроумная белочка делает вид, будто прячет добычу, а сама грибочек прихватила с собой и бросилась наутек. Воришка разворошил вороха листьев и... остался «не солоно хлебавши»; а грибочек припрятан совсем в другом месте.

Вдруг тишину леса нарушило тревожное цоканье: это с белочкой случилась беда! Она забилась в густые заросли можжевельника и прячется от хищника. Кто там притаился на сосновой ветке? Это ястреб-тетеревятник! Пернатый охотник увидел белку и приготовился к охоте, но рыжая красавица оказалась проворней и скрылась в колючем кустарнике. Звонким клекотом «кийяя» тетеревятник сообщил об атаке. Сложив крылья, ястреб стремительно бросился в бой, грудью пробил плотные заросли сосняка и взял можжевельниковый куст в длительную осаду.

Ястреб-тетеревятник — коварный и ловкий хищник. Широкие крылья и длинный хвост позволяют легко маневрировать в полете, быстро менять направление и резко тормозить. Бесстрашный охотник на лету бьет любую птицу, может справиться с серой цаплей, с гусем и крупным зайцем, в кроне деревьев устраивает засаду на уток, куропаток, голубей, ворон. А белка для него — легкая добыча.

Воздушный пират все ближе к заветной цели, он тянется когтистой лапой к белке, вот-вот схватит желанную добычу. Но белочке вовсе не хочется попасть в ястребиные когти, — дома ее ждут голодные бельчата. Ловко бегая по стволу, она всякий раз ускользает от хищника.

Терпение пернатого охотника иссякло. Смирившись со своим поражением, ястреб взмыл на высокую сосну, оглядел окрестности и отправился в таежный лес искать другую добычу.

А белка выбралась из неприступной крепости и бросилась удираť в надежное укрытие. Вот так маленькая белочка победила грозного ястреба.

Юрий КАЗАРИН

НЕМТЫРЬ. ДУМАЮЩИЙ СТИХИ

(Роман)

Продолжение. Начало в №№ 5, 6, 2023, № 1, 2024

* * *

(Одиннадцать месяцев назад). Ужас касается тебя трижды. Первый раз (неожиданный и катастрофически явный, материализованный), когда ты слышишь хлопок миномета (трубка ок. 80 мм) в долине — звук выстрела доходит сразу со всех сторон, без эха, не концентрированно, но как-то необычно (а ведь слышал такое сотни раз!), растопыренно... Свиста нет. Ты успеваешь крикнуть шепотом, но шепот этот куда громче крика, клика, вопля: ложись! мина!.. Свиста снаряда не слышно, значит, он летит прямо в тебя или куда-то рядом с тобой, не дальше вытянутой руки. Группа идет гуськом в буше, по гребню баракообразной сопки лаосской. Ты, нарушая устав, шагаешь первым — осторожно, чуть растопырив ноги и до боли в мозгу опять же растопырив глаза — нет ли растяжек. За тобой кандыбает огромный Петя Махач, Яковенко, он из Махачкалы — отсюда и прозвище. За ним с интервалом в 7–8 метров идут остальные — пять бойцов. Замыкают колонночку эту Вовка Симак и Юра Дмитриев, он чапает последним — почти спиной к движению, отслеживая и контролируя тыл. В голове твоей включился Led Zeppelin, Stairway To Heaven, эта вещь, песня-непесня, баллада-небаллада, медляк-немедляк, опера-неопера, — так гигантский кусок времени и неба, звучащего в башке, сопровождает тебя уже два года, врубаясь в мозгу (или в сердце? в душе? или сразу всюду?) в самые трудные и печальные минуты твоего военно-морского существования. Мина шлепается почти беззвучно, звук взрыва сдувает в буш: она попадает прямо в Петю. Тебя поднимает над этой болотисто-каменисто-вулканической землей — и все: конец фильма.

Ты скатываешься с сопки почти до подножия. Лежишь, уткнувшись мордой в расщепленный пенечек, по которому ползают огромные желтые муравьи. Небо тоже желтое. Растительность вся, даже молодой бамбук, тоже желтая. Тебя подбирают повстанцы. Не повезло. Это кранты. Каюк. Кукан. Выкупа нет — расстреляют парня, который в два раза выше местных гигантов. Ты валяешься на бетонном полу в бетонной кондейке в обнимку с огромными тараканами, которые, как тебе кажется в твоей контузии, сочувствуют тебе, жалеют тебя и обещают помочь. Ну, с тараканами-то, этими кокручами

(cockroach, англ.), ты договоришься. Но, тем не менее, тебя без допросов расстреляют. Три раза. У бетонной стенки кондея. Ты лежишь в своей хате, коморе, и молчишь: из глаз, из ушей, рта и из всех остальных отверстий в твоём теле подтекает юшка, ты весь в крови, и комбез твой серый стал кирпичным. Ты ничего не жрёшь. Чуть-чуть поешь. И постоянно — при визитерах что-то бормочешь, пуская красные и розовые пузыри — воздух в плёночке крови (ты постоянно подкусываешь прикушенный во время взрыва мины язык, чтобы крови было побольше). Ты писаешь в комбез — и уже воняешь. Ты постоянно, но невнятно пускаешь с кровавыми пузырями изо рта звукоряды, похожие на Fuck и O my God, Jesus Christ, Mamma etc...

Второй ужас был двойным: второй-первый — это страх за группу, за ребят, за Юрку и Вовку, за Дзинтарса и Матиса, страшных неумех, но гениальных снайперов, за Колю Архангельского, еврея из Архангельска, охрнительного гитариста, рассказчика и прибаутчика. Второй-второй ужас обволакивал тебя и закипал внутри тебя: как отсюда свалить? Ребята с сопки, видимо, соседней, — пускали зеркальцем зайчика, вычерчивая треугольник (слава Богу, муссоны еще не грянули) с точкой (трижды возникающей в треугольнике всякий раз), расположенной ближе к вершине этой фигуры. Геометрия, мать ее, говорила Ване: «Мы на соседней горушке, живы-здоровы; уходи из лагеря повстанцев левее — обязательно уткнешься в наш постамент, в нашу фортецию, в сооруженное природой фортификационное возвышение; ждем, следим за всеми тропками в буше; если поведут-повезут тебя, — отобьем, врежем — мало не покажется; твои, Ваня, соратники».

Третий ужас ты загасил в себе, когда шел — ровно, средне-медленно, вольно и свободно к колючке, натянутой по периметру базы. Шел с калашом (сорок седьмым) в левой руке. Правой, свободной рукой не махал, а помахивал. Шел так, как учили в спецшколе МП — незаметно, не привлекая внимания. Двухметровую сеть из колючей проволоки взял махом, с первой попытки. Все — буш. Рванул к своим в обход несчастливой горки — к соседней, где зачалились твои бойцы.

* * *

Ужас сжимается в тебе до светящейся раскаленной точки, которая дрожит, вибрирует — и вдруг взрывается. Взрывается тишиной. За бортом эсминца шевелится мускулистая вода. Ты куришь на баке. Один. Ребята спят или режутся в карты, закрывшись в спецкаюте. Выпивают. А тебе бы прилечь на койку, на шконку, на три поставленные в ряд, вплотную друг к другу три баночки-табуреточки. Закинуть под голову туго свернутую куртку меховую — и читать Пушкина. Книги с собой не брали — нельзя. Нельзя ничего русского. Ни Пушкина, ни Толстого, ни лондонского издания Джойса, ни сонетов Микеланджело, Данте, ни стихов и картинок-чертежей Да Винчи... Океан. Еще долго до дома или до новой точки действия, движения, выполнения задачи. Ты неволен. Несвободен. Absolutely. Как миллионы людей, запертых в империи, несчастных и счастливых... Свобода? Где она? Чтó — она? Что за баба такая — Свобода...

*Мир опустел теперь куда же
Меня ты вынес океан
Судьба земли повсюду та же*

*Где капля блага там на страже
Уж просвещение иль тиран...*

Океан тебя выносит на терра-логос, на остров такой, надземный, надводный и подземный-подводный, воздушный и безвоздушный, надвоздушный, космический, что ли? — Повсюдный. Прочь отсюда — и душой, и сердцем, и умом. Прочь от этих государств и народов, их войн и лживых дружб. Прочь от толпы и толп. От черни? — Ну да, от нее. В терра-логос. В Терра-Логос. Into Terra-Logos. Ты криво улыбаешься своей глупости или своей мечте... Печально все это. Печально. И тишина шуршит, пошумливает Океаном — этой гигантской каплей в терра-логосе, где живут только художники. Поэты и музыканты. И Свобода, и сам Океан.

*Свободы сеятель пустынный
Я вышел рано до звезды
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя
Но потерял я только время
Благие мысли и труды...*

*Паситесь мирные народы
Вас не разбудит чести клич
К чему стадам дары свободы
Их должно резать или стричь
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич...*

Пустынный океан ближе к закату заметно расширился и преувеличился: он теперь заходил и в небо, и в тебя, в твой головной мозг и в сердце. Только душа противилась его движению и расползанию повсеместному... Просвещение и тиран. Они стоят над пропастью в обнимку. А за ними — стреноженные — пританцовывают толпы, опьяненные предвкушением знания и ожиданием легкой и сладкой казни... Тьфу ты, на хрен!.. Договорился. Додумался. Твоя страна-колхоз далеко. Ее убьет цивилизованность, НТР и прочая приносящая прибыль зараза. Знание знает тирана. Тиран знает знание. Они — непримиримы. Просвещение поглаживает им спины, изредка поплеывая в оба лица...

Рабфак сворачивался. Экзамены перенесли на июнь, чтобы в июле и августе выпускники рабфака, уже ставшие студентами, успели крепко поработать на стройке нового корпуса на Тургенева. Ивана Сергеевича Тургенева. Училось Ивану легко: он и не прекращал — никогда, в любых условиях — если не читать и не писать напрямую, напрямую: книгу в блокноты, — то постоянно думать стихи, думать о стихах, думать о поэтах, думать о поэзии. Думать постоянно, длительно и глубоко до тех пор, пока дума не обращалась в силь-

ные ощущения то ли чуда, то ли удачи, то ли в чувство приближения чего-то неизъяснимо важного, может быть, даже главного. Жизнь твоя и околичная куда-то двигалась. Телега жизни, да?.. Но ты уже начинал понимать, что нужно поломать все рамки, ритуалы и обывательские традиции жить. *Жить*. Привычку жить, как все живут. Или не живут. Изображают жизнь. Изображая жизнь, ты изображал изображение жизни, чтобы тебя не трогали, чтобы все-все-все отвяли от твоего думания стихов...

*Хоть тяжело подчас в ней бремя
Телега на ходу легка
Ямщик лихой седое время
Везет не слезет с облучка*

*С утра садимся мы в телегу
Мы рады голову сломать
И презирая лень и негу
Кричим Пошел такая мать*

*Но в полдень нет уж той отваги
Порастрясло нас нам страшной
И косогоры и овраги
Кричим полегче дуралей*

*Катит по-прежнему телега
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега
А время гонит лошадей...*

Ты сам себе телега, кони, дорога, ямщик, седок и такая мать. Останови в себе телегу, выпряги коней (о, мерин Ежик!) и пойди с ними и за ними к озерцу. Улыбнись воде и лошадям. Потрогай водицу — пусть и она тебя тронет, мягко ухватит за пальцы, за ладонь, за озябшее запястье. Она — время, которого нет. Здесь, в тебе его нет. Есть только вечность и жизнь, точнее — существование душиумасердца. Ты отпускаешь лицо свое, и оно ложится на воду и смотрит глазами — уже не совсем твоими — в твои глаза. И ты уже не ямщик себе самому, а пловец. Ты слышишь лес, воду, воздух и звезды (днем!), лошадей и преподавателя: он что-то говорит о каком-то съезде КПСС, который прямо-таки выпрямил полуспившуюся страну и указал направление движения не к отрезвлению, но к более сильному и тотальному опьянению ложью коммунизма, морального кодекса строителя этого изма. Изм сей уже не изматывает твой слабый умишко: это он внешне такой советский-советский, но глубже — просто ум, разум, способный находить в словесах и в словесности (изящной, естественно) жизнь иную, настоящую, верную и непознаваемую, как Бог и душа. Ты думаешь об истинной сущности слова в художественном тексте, что значит — говорить, как Толстой, Да Винчи и Джойс. Говорить много, излишне много — *переговаривая*. То бишь говорить, переговаривая, и переговаривать, недоговаривая. «Война и мир»,

«Улисс» и улыбка крепко сжатыми губами женщины, способной говорить с зашитыми устами. Переборщить, недоборщив, — выйти из рамок, фреймов литературы, искусства так называемого — прочь, в глубины, т. к. именно там начинается истинный художественный и внутренний мир — мира, когда художественное становится сокровенным, а внутреннее — художественным. Такова, видимо, подлинная жизнь, смерть и любовь. И — вечность. Быть как Бунин и Юрий Палыч Казаков — точным, ясным, высоким, глубоким и ужасным до «прекрасности» — но! — без огляда. Без оглядки. Без страха быть и оставаться одному.

Но! — не быть, как письменники-одесситы Бабели, Олеши, Катаевы и остальные, которые вывернули наизнанку советскую словесность одесской набивкой наружу, чтобы литература, оставаясь советской, выглядела поновее...

Этот мир обывательско-советский *интонационно* — не твой. Это не твой мир. И слава Богу. Советский писатель — это

*Полу-фанатик полу-плут
Ему орудием духовным
Проклятье меч и крест и кнут
Пошли нам Господи греховным
Поменьше пастырей таких
Полу-благих полу-святых...*

Военная советская проза: горячие снега, блокады, сотниковы, звезды, доживания до рассветов — это война, героизм-героизм-героизм... Если *это* — война, тогда где же были мы? На какой такой войне? Война — это искусство смерти. Это — главное. Главное — выжить, уцелеть не для того, чтобы дышать, а для того, чтобы выполнить задачу. ГУЛАГ тоже война. И задачи там были поставлены жизнью и Богом — выжить и дожать эту милую власть. Сталин — Черчиллю: «Я расстрелял 10 миллионов кулаков». Это вот как раз и есть война. Все боялись Сталина. Страх не позволял нормально бить немцев. Страх порождает глупость, трусость, осторожность и все летело к чертовой матери. Шесть миллионов пленных русских солдат. Двадцать шесть миллионов — убиты. Сталин? Герой? ...Основа истории человечества — это прежде всего история словесности. «Гильгамеш», Гомеровы поэмы, античная поэзия, Да Винчи, Микеланджело, Данте, Шекспир, Толстой и так далее, далее, далее — ближе, ближе, ближе — к сердцу, к разуму, к душе. Когда мы научимся видеть (и слышать!) в Чингисханах, в Александрах Македонских, в Дариях, в Карлах Великих, в Наполеонах, в Петрах Первых и проч. анти-героях — тогда мы очистимся и, может быть, вернемся к разумной жизни... Медаль твоя «За отвагу» имеет не две, а бесконечное множество сторон... Но есть еще и Главная Медаль «За жизнь!», и у нее не две, а три очевидных стороны: на одной написано «Тирания», на второй — «Демократия и либерализм», — и то, и другое суть глупость, потому что у Главной Медали есть третья сторона — главная: «Истина, Вечность, Дух...»

*Полу-милорд полу-купец
Полу-мудрец полу-невежда
Полу-подлец но есть надежда
Что будет полным наконец...*

Необходимо постараться — в муках, в крови, в ужасе — увидеть и услышать милорда-мудреца и подлеца в абсолютно полном содержании, отбросив прочь форму, изолгannую до политической паранойи и обывательской прагматики... Ты усмехаешься. Съезд КПСС: ну да, точно — съест КПСС. Сожрет тебя, жирную, жадную, жестокую — всю. Целиком и полностью.

Мичман Стуканов (старшина) командовал обычно так: — Старший матрос Орлов, подойти ко мне целиком и полностью. Целиком и полностью. Так нужно пообращаться и с историей. Так называемой *историей*...

Вечером вы с Олей встречаетесь. Оля — взрослая девушка, рабфаковка (журфак). Красивая, высокая, ладная. В новых голубых джинсах (огромная редкость и зависть рядом-живущих), в замысловатых босоножках. Сначала вы сидите в «Молодежке», где тебя помнят, как Королёва, запустившего Гагарина в космос: ты запустил кавказского хама вместе с пластмассовым креслицем в витринное окно — прямо на орбиту кругового тротуара... Может быть, он До Сих Пор там — *там* — летая, сидит и — сидя — летает?.. Метрдотель улыбается тебе. И ты просаживаешь последние копейки-рубли: цветы — вино — еда — шампанское — вторые цветы и т.п. Ночью вы гуляете по городу, заходите на Площадь Советской армии, где еще нет Черного Тюльпана (Афган случится через три года). О, фонтан с цветомузыкой! Клево. Классно. Железно. Вы сидите на бульварной скамейке, не целуясь, но думая о поцелуе. Обнялись. Нет, она тормозит. Вдруг вскакивает со скамейки и бежит к огромной круглой клумбе, нашпигованной рассадными цветами. Оля садится на корточки, смотрит на цветы — выбирает. На площади пусто. Два часа ночи. Утром всем на работу. Оля выбирает садовые крупные — с ладонь — ромашки. Нюхает. Говорит: — Клевые ромашки, я от них торчу... — Потом поднимается с корточек, поднимает к небу лицо — звезды: — Ваня! Звезд — как насрано! — говорит она, нет, восклицает с восторгом человека, впервые рванувшего в космос... — И ты гаснешь: зародышек призрака любви схлопывается в груди — так щелкает затвор пустого ТТ. Почти не слышно и нежно: все — капут. Нашей первой любви, еще не наступившей, наступает конец...

Утром Иван уходит из общаги. Рано утром. Очень рано. Слишком рано. На душе тяжело, нечисто и невесело. Вторая нелюбимая любовь. Енабый стыд! Военно-морской ужас... Света позавчера приходила в универ из своего УПИ-политеха. Постояли. Покурили. Сказала, что, мол, давай так: ничего не было. У меня ведь, мол, парень есть. Наш одно-классник. Твой соратник по баскету. Вовка? Коровин?! Он же кинет тебя... Эх, Света... А ты сам — что? — не кинул... Урод.

На занятия еще рано. Едешь на вокзал — в буфет. Перекусить. Бурдяного кофе испить. Кофейной бурды намахнуть... Ваня, ты что вытворяешь?! Урод... Почему мужикам нравятся девки вульгарные (это об Оле)? Нет, не вульгарные, а вульгарноватые, гаражные шлюшки; не наглые, а нагловатые; не красивые, а смазливые; не умные, а хитрые?... Идешь на вокзал. И тебя распирает позор. Твой позор: ты аки акула, наплотавшаяся табуреток. Сиденья сих табуретов отполированы задницами — не до блеска, а до зеркальности. Смотришь же, сучок (от «сука», самец суки), в свои жопные зеркала... Урод...

Ты пьешь бурду. Даже зонная жидкость, напоминающая одновременно чай, мочу и скислое какао, не столь отвратительная. Вареное яйцо, вкрутую, куриное пахнет, освобожденное от скорлупы, яйцами Гаргантюа или немытого целую вечность Панурга. Ваня, говоришь ты себе, — а ведь это твоя жизнь... Ты чужой здесь. На гражданке. В универе. В общаге. На войнушке ты свой. Хотя... Ни порох, ни динамит, ни ТНТ, что-либо (особенно фосфор, напалм) планете не нужны. Пошли они на х.р — китайцы, химики, Нобель со своей премией, Оппенгеймеры и Сахаровы... И Королёв туда же... Рыжие. Оба рыжие — и Гитлер, и Сталин. И Чингисхан рыжеватый. И товарищ Македонский Шурик. И Наполеончик... Все были срыжа. *Срыжа*: и Ленин милый тож. Пассионарность. Пассионарные народы — голый, как задница в бане, нацизм... Рыжих — вон из Истории. Душегубы. Всех рыжих полководцев и политиков — в цирк! В цирк, как говорит/произносит это словечко Лёнька Данилов, рабфаковец, будущий нежурналист с будущего журфака. Лёнька на днях, указав на дом сталинской постройки, молвил: — Знаешь, Вань, что здесь живут только актеры из музыкальной комедии, все — гомосексуалисты. Ты слышишь это слово впервые. Педерасты, пидарасты, пидоры — эти звукоряды ты знаешь, но «гомосексуалисты» — это что-то новое. Оцивилизованные педерасты. Пушкина убил педераст, или дваждысексуал. Да-а-а... Ты не удерживаешься — и выпиваешь стакан тагильской, воняющей резиной (тоже нижнетагильской), водки... И — домой. На трамвайке. Долго и уныло. В полусне.

Иван задремал в холодном (а ведь уже лето — первое мирное лето за три года!) вагончике трамвая № 5, который пилит до Площади Первой пятилетки, прямо до центральной проходной УЗТМ — и здесь твои полтора года остались. Ты дремлешь, грезишь, бредишь (водка плохая): ты прошел всю Великую Отечественную. Потом — Монголия и Япония. Затем арест. Пятьдесят восьмая. пытки. Пуля в затылок. Все... И сразу, без интервала: 1812 год, ты офицер, адъютант генерала Алексея Петровича Ермолова. Дважды ранен (тождество с твоей реальностью). Награжден трижды: два «офицерских» и один солдатский (батальон проголосовал) Георгия. Еще ранение — нехорошее — в ноги. Под тобой убито две лошади (жеребец Ежик и кобыла Майка). Отставка. Уезжаешь в имение. Живешь один. Пишешь. И — умираешь счастливым... Да, ты знаешь, что такое счастье: родиться, писать и умереть. Нет, не писать, а думать стихи и прозу. Ты знаешь, что такое дым: в одиночке (в Питерской) вас двое — ты и твой табачный дым. И больше никого и ничего. Только думы и дым. Ты знаешь о дыме все. А он — о тебе. Так и живете вдвоем в одиночной камере — в обнимку. Он уходит — и ты закуливаешь новую сигарку («Охотничьи», «Северные», «Памир», «Прима» — вот такие ссыгареты).

Пешком идешь домой. Дома — пусто... Садись на пол — ноги не сгибаются в коленях — больно: ранения еще свежие, не выросли своим уродством в общую систему жизни тела твоего, хотя душа и разум уже привыкли к увечью — и ты почти не хромаешь. Хромают от боли — но боль теперь часть тебя, твоего существа. Ты сидишь, как нищие сидят на тротуаре, те нищие, увечные, поисковерканные в конце пятидесятых. Ноги чуть раздвинуты, между ними — кепка для подаяний. Для подачек на водочку и хлебушек. Ты сидишь как нищий. Между колен — пепельница. И ты понимаешь, что 1812–1814 (и 1805, и 1807 с Аустерлицем) и 1941–1945 (и 1937, и 1939, и годы за 1945-ым) — все это не совсем безумие: время, превращается в вечность в тот момент, когда память крови и рода твоих соединяются с памятью страны, народа и истории. Но истории не только и не столько войн, сколько — души, душ и духа, которые питаются не только водочкой и хлебушком, но — прежде всего — словом и музыкой. Ты — отец — дед — прадед — прапрадед — и т. д. — это морпех, чекист, гимназист (ох, много у Ивана Ивановича в его биографии темных мест!) и царские офицеры, и генералы. И это не нитка крови и не канат, а жила земляная и небесная, проходящая сквозь мир и тебя и питающаяся миром, духом и тобой... А все эти торговцы, политики и гососаксофонисты суть осыпавшаяся корочка с этой жилы. Судьба — одножильная, и обнять ее может только двужильный человек — родом своим и миром, словом и песней.

Иван вышел на балкон: во дворе пацаны играли в лапту. Петя ловко, прямо с коляски, жучил чижику, ловко чекая его лаптешкой и засвечивая им — ударом с лету. Недосыгаемо далеко летел деревянный чижику... А в клетках чижики живут недолго. Они только поют и перелетают короткими, как вспышка фонарика во тьме, вспорхами — с куста на куст, с земли на землю, с воздуха на воздух. Петя ударил лаптой — с хорошего маху — по чижику, тот взлетел свечкой — и вдруг замер в воздухе надземном, почти в небе — чуть-чуть недолетел. И душа Вани подскочила и замерла над зависшем над двором балконе. Дверь балконная была открыта настежь — квартира пустая и входная дверь заперта. Но в доме кто-то ходил, или что-то расхаживало, перемещаясь из кухни в единственную комнату, из комнаты в прихожую, из прихожей — вновь в коридорчик кухонный... Вот в ванную заглянуло... Ты сходишь с ума? Галики? Аудиальные галлюцинации? Что-то со слухом? Последствия контузии? Одиночества — нутряного, подвздошного, глубокого, как свежая могила или не менее свежий окоп? Иван чуть повернул голову в сторону распахнутой балконной двери и периферийным зрением засек светло-серое платье. Женщина. Она? Снова Она?

Она вышла на балкон и молча присела на деревенскую «стулку» — стулик, табуретик, сколоченный из трех досок в форме буквы «П».

— Ваня, вечность всегда начинается завтра.

— То есть ее нет? Она вообще не наступает. Она есть, но не наступает, не начинается?

— Вечность наступает всегда и везде, но вы этого не замечаете. Вы видите — сразу и целиком — Гагарина, войну, различные сборища ЦК КПСС, красивые ноги, высокую грудь... да, еще бороды на мужских лицах — они ведь здесь негласно запрещены?

— Полузапрещены. Борода полузапрещена, как Мандельштам, Пастернак, Ахматова и Цветаева, как Платонов, Бунин и Набоков.

— Один человек в свой день рождения, сто пятьдесят лет назад, то есть вчера — он старше тебя всего на семь лет — сказал: сказал прежде всего себе, Мне и Ему.

— Сказал?

— Ну, нет. Точнее проплакал. Провыл. Прорыдал. Но сдержанно без аффектации и надежды на ответную жалость, жимолость и милосердие мира:

*Дар напрасный дар случайный
Жизнь зачем ты мне дана
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена*

*Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал
Душу мне наполнил страстью
Ум сомненьем взволновал*

*Цели нет передо мною
Сердце пусто празден ум
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум...*

— Судьба тайная... Насколько тайная?

— Полностью и навсегда.

— Но всегда наступает завтра...

— Всегда есть всегда, как время, которое вы себе придумали, как изобрели себе общество и государство.

— Из ничтожества — в никтожество?

— Да. Путь такой: ничто — что — кто — никто. Формула искажена, нарушена, уничтожена.

— Или уничтожена?!

— Молодец... Так есть. Sic!

— Сомненье, волнующее ум, неопределенность, потерянность, изумление перед никтожеством своим...

— Ты прав. Так и есть: изумление перед ничтожеством креативного безделия. Безделия ума, сердца и души. Вас пожрут ваши эмоции.

— Уже началось.

— То ли еще будет. Готовься.

— Сердце пусто? Празден ум?

— Они готовы действовать, потому что починены духу неопустевающему и трудолюбивому.

— Однозвучный шум?

— Чем монотоннее — тем исчезновеннее.

— Но ведь поэт — это само исчезновение: он не может существовать без вещества исчезновения. Он поглощает это вещество с произношением каждого и всякого звука... Дар — напрасный? И случайный?

— Нет. Здесь твой товарищ по голошению, по думанию и страданию мира, музыки и стихов — не прав. Он это знает. Это детское отрицание в значении утверждения.

— А как же читатель? Ведь он — в обществе себя и музыки?

— Читатель — это немтырь. Поэт — не-поющий.

— И поэт — немтырь?

— Да. Поэт поет то, чего не знает никто, кроме Него. И поэт — не знает. Он предощущает, но не ведает.

— Значит «Поэту» — это чистая правда?

— Не вся. Только ее социальная и антропологическая части. Малюсенькие. Но почему-то важные для вас, милых идиотов.

Она глянула — коротко — Ване в глаза. Вспышкой... Вспышкой — чего?.. И — улыбнулась. Я пойду? — Иван чуть было не спросил: Куда? И как? И почему? Но вдруг все понял — и застыдился.

— Да, конечно! Спасибо Вам! Э-э-э, можно... я тут вспомнил... прочитаю. Вслух?

— Можно и не вслух. Можно — в себя. Читай в себя.

*Поэт не дорожи любовью народной
Восторженных похвал пройдет минутный шум
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной
Но ты останься тверд спокоен и угрюм
Ты царь Живи Один Дорогою свободной
Иди куда влечет тебя свободный ум
Усовершенствовав плоды любимых дум
Не требуя наград за подвиг благородный
Они в самом тебе Ты сам свой высший суд
Всех строже оценить умеешь ты свой труд
Ты им доволен ли взыскательный художник
Доволен Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь где твой огонь горит
И в детской радости колеблет твой треножник...*

— Не дорожи?..

— Так.

— Ты царь. Живи один?

— Это истина.

— Свободный от всего ум? От чего?

— От себя самого в том числе.

— Ты сам себе Высший Суд?

— Да, потому что ты в Нем, а Он в тебе. Мироздание это понимает — и не колеблется, как твой треножник... Я пойду.

— Но... — Она исчезла... — Иван докуривал седьмую сигарету. Подряд семь сигарет — непрерывно. Голова раскалывалась. Что-то в ней искрило и переливалось фиолетово-сиревыми всполохами, как северное сияние. Полярное северное сияние. Биполярное сияние в голове у человека, живущего одновременно в себе (не высываясь наружу) и с людьми.

Вещество музыки ощущается полнее в одиночестве. Ты ставишь на старенький «Аккорд» виниловую пластинку «Барочная музыка» (Телеманн, Корелли, Пашельбель, Альбини, Марчелло, Пёрселл, Вивальди, а с ними — в этой компании — Бах, Гендель, Рамó). Ставишь иглу на дорожку с Марчелло («Овое concerto in D: Adagio»). Музыка такая легкая, что не поднять: но она раздувает волосы и веет прямо в лицо так, что глаза закрываешь — сначала щуришься, а потом сразу слепнешь и превращаешься в часть музыки. Что это?.. Что со мной?.. Музыка тебя понимает, она тебя разговаривает, она тебя слышит — немтыря. Она тебя слушает до немоты твоей. И ты никуда там не «уносишься», не «возносишься», не «паришь» (под парижанами) — ты просто звучишь всем существом своим так, что слышно богу, что видно так далеко и долго, что глаза болят... Глаза болят от любви, которая скоро случится.

У каждого живого и «неживого» существа есть своя музыка: у птицы, у рыбы, у бактерии, у дерева и травы, у камня, у песка и глины. Эта музыка — вибрация, возникающая под воздействием множественной гравитации — астрофизической, вообще процессуальной, биологической, психической, интеллектуальной, языковой (дрожь любого языка не только как знаковой сущности, но и субстанции прежде всего музыкальной). Человек — по определению — должен слышать каждую и всякую, и различную по природе своей музыку. Но он слушает Кобзона или орет под пьяную лавочку «И снег, и ветер, и звезд ночной полет — всегда мое сердце в тревожную даль зовет (комсомольскую даль, общественную и государственную, то бишь толпяную, хоровую). Толпяная, хоровая, коллективная эмоция убивает многие, если не все, способности души человеческой. Вот он и «болеет» футболом, попсой, ночными клубами и дискотеками, пляжами, кабаками и войнами. Война — дело общественное, коллективно-оздоровительное... Языковая музыка как чудо, как порождение, возникновение, явление, проявление и сила божественная не терпит толпы, ее совокупной метапсихики, ее обобществленной и опустошающей все и вся эмоции — метаэмоции организованного движения по кругу: квартира — работа — кайф, потрясение ерундой, чепухой, пустотой. Толпа стремится к пустоте до тех пор, пока сама не становится пустотой. Позитивизм поверхностного и полезного быту (о, комфорт!) познания — это антипознание, это зарывание себя в свои отходы, в свое дерьмо, в свой мусор, в свои (и в детскую!) кровь, проливаемую на войнах, нужных только производителям оружия, амуниции и хавчика, раздаваемого порционно.

В штрафбатской зоне, в дисбате порцию жратвы (баланда, мусорная каша с привкусом «бациллы» [мяса] называли «порцайка»). Человечество получило свою порцайку развлечений, кайфа и — позднее — hire'a («хайп»). Вот и трясется над ней — и гибнет комфортно, респектабельно и живенько, кинематографично, душещипательно и пустопорожне. Всеобщее хреново нобилити (nobility) давным-давно расчеловечилось в своих капитализмах, фашизмах и нацизмах. Rest In Peace!..

Головка звукоснимателя подобралась к девятой дорожке — к девятому кругу (вторая сторона пластинки) — и квартирка исчезла, — сначала раздвинулась на все четыре стороны света — особенно на север, потом стала расти по вертикали — вниз, в дебри корневые, глиняные, и — дальше, в недра, в мозг замороженный, каменистый и почти прозрачный; в сердцевине музыки, в душе Ивана и этого стереовизуального креста пылала, посверкивала, угасала и вновь мерцала, вздуваясь и пламенея истинная правда, редкое, невиданное чудо — гармония звука, разума, сердца и души, их четвероединое объятие медленно вращалось внутри объятия плоти и души, севера, юга, запада и востока, небесной бездны и планетарной прорвы. Это был ужас Бога. Ужас Абсолюта. Ужас всеобъятия гравитации и гармонии. Гравитация гармонии сушила глаза и увлажняла кончики пальцев и ладони...

* * *

Что бы Ваня ни слышал: звуки леса, шум воды, пение птиц, говор людей, гром паровоза, трамвая или лай собаки, или шепот страниц в распахнутой книге, — он слышал музыку — свою. Даже когда он слышал музыку — он ее переиначивал. На свой лад. И это была уже другая музыка. Своя. Это напоминало болезнь. Какую? Блин, ты все делаешь музыкой. Только музыкой. Постоянной, бесконечной, вечной музыкой... Бабушка это знала. Убитые морпехи это знают. Оставшиеся в живых — это слышат. И слушают Ваню — Неваню — а эту, может быть, простую, но дикую и проникновенную музыку. Эту музыку слышит только тот, кто любит и гибнет. Ее слышит даже смерть.

Иван нагреб колючей красной земли и ссыпал ее горстями в сидор. Килограммов 8–10... Потом раздаст родным погибших. Он это сделает с Николаем Ивановичем через три месяца, после командировки... Кружат вороны кружат вороны кружат вороны надо мной и течет река в обе стороны будто жизнь моя с тобой холодна вода холодна вода глубока вода нету дна что меня с тобой развела волна не твоя вина а моя беда... Эту песню Ваня услышит через 45 лет по телевизору, поглядывая на фильм про войнушку. Запомнит сразу всю — целиком, — раз и навсегда...

Музыка в голове Ивана то вытягивалась в канаты, в веревки, в шнурочки и длинные шелковые нити, иногда эти, говоря по-морски, концы, ершились, становились гусенично-подобными, мохнатыми, как нитки из овечьей грубой шерсти. Рок'н'ролл вытягивался

в Баха, Бах — в хард-рок. Эстрада, джаз и вообще попса — в Моцарта. И наоборот: толстый канат без труда, сам собой, преобразовывался в Баха. А волынка — в Грига. Но такие превращения никогда не происходили с музыкой итальянского барокко: Вивальди оставался Вивальди. Гайдн, Рахманинов, Перголези — сами собой. Чайковский вел себя в Иване, его существе по-разному: то превращался в конец, то в немца, то в итальянца. Гендель же никогда не подчинялся обстоятельствам войны и оставался Генделем. В долгих походах Иван, продираясь сквозь буш, одновременно летел, сквозил, парил, неся сквозь музыку, звучащую в голове.

* * *

Иван стоял на балконе. Один. Он курил болгарскую сигарету с фильтром и думал о Ней: в армейские, «военно-морские» годы Она часто навещала его, словно следила за ним, словно опекала его, как Арефьев, Печерский и живые, политые слезами образы деда, бабушки, Кати и Коли... Коля, бедный, где ты? Иван, будучи верующим, не принимал церковные мифы о строении инобытия. Инобытие было, в представлении Вани, шире, глубже, выше и шарообразнее. Рай, Ад, Предысподняя — слишком примитивны для того, чтобы принять себя в душу усопшего, душу бессмертного по трем «ведомствам». Были там, видимо и «свободные» от ритуального мышления зоны. Например, загробный мир — Поэзия.

Краем неба идешь... Передвигались вдоль заката, вдоль кромки земли — она показывала свой рубчатый, холмистый, кустистый, неровный, но и не плавный, а острый, как зазубренное лезвие старинной дедовой косы, край. На стыке кромки неба и лезвия земли ходили — горизонтально — искры-искорки то ли от оселка завалившегося солнца, то ли от наждачного бруска земли, на которой только что завершилась бойня. Когда почти стемнело, Иван остановил скорбно-боевую колонну. Передал по цепи команду: перезарядить АК, РПК и ПКТ трассерами, чтобы страшнее было тому, кто сунется, придвинется к колонне, попытается заблокировать ее. Иван выставил авангард (пять лучших и опытных бойцов), арьергард (семь самых отчаянных морпехов) и фланговые заслоны/контрольные слухачи и наблюдатели. Кроме того, по возвышенностям скакал на своих двоих Абылхапов с тремя каракалпаками: Сакен стрелял божественно, азраильно и архангельски точно — во тьму, на шум, на мельк, на шорох, на дых, на чих, на хруст былинки, на всхлип водички, на глухой, интимный бульк в горле — на глоток...

Иван шел попеременно то с побитыми, ранеными, то с усопшими. Он думал о том, что бытие (вообще существование вещества жизни) не монолитно. Есть физическое бытие, есть метафизическое (как в поэзии — особенно: Тютчев, Боратынский), а есть и другое — другие «бытия». Иное бытие легко называть инобытием. И что? Все? Этого хватит? Ни хрена! — есть третье бытие, оно не дает слиться-соединиться физике и метафизике, оно есть интерфизика: оно живет между двумя «физиками» — материальной и метаматериальной, и нематериальной... Вот так. Примерно так... Сорок верст кандыбать. Не нарваться бы на кубинцев или еще каких-нибудь бандитов. На партизан черномордых. На южноафриканцев. На французов. На разведчиков, сука, всех, сука, стран,

сука... Ладно, Бог — не фраер. Прорвемся. Вынырнем. Вот идешь ты «домой» точно в озере карасем идешь из мошны сколько женщин мы к черту бросили сколько сами мы не нужны... Лёня Губанов? Похоже... Вот идешь ты — и пуля снайперская или дурная чмокнет тебя в висок. И — все. Ты Там — в третьем бытии. В интербытии Без Суда и Следствия. Скажут Павлы-Петры: стихи думаешь? — тогда иди в третье бытие. Там располагайся. Живи. Нет, существуй. Метаживи. И — метаотдыхай от этой долбаной Африки, песков, камней, зверей и буша. Там уже — для смеха — не подложишь (второе — тяжело!) отгрызенную и погрызенную гиенами огромную башку жирафа в палатку пацанам — как раз в изголовье, чтоб повонючее было да пострашнее: ржали тогда все, но без обид — дело молодое, военное...

И скажут тебе ангелоподобные существа — дети неба: иди сюда, ступай вон туда, видишь, речки, пара озерца, домики островерхие, сады-садики с черешней и яблонями, а кругом-то беседки, скамеечки, и люди в малом количестве ходят — туда-сюда, без заботы особой. Так себе — ходят и смотрют, то на Небо, то на Растения с Травой. И забота у них одна: как бы додумать стихи, недодуманные в Жизни Людской на планете Земля. Ходят, думают, бормочут, улыбаются, а то и плачут от удач и неудач в думании своем. Иди. Видишь их? К ним иди!.. (Господи, значит меня все-таки убили.) Но когда и кто? У оврага? Кубинцы? В акациях долгоиглых, наглых и жестоких, безжалостных... Убили?! — Нет, ты жив, парень. Иди в долинку-то (отвечают ангелоиды), иди к своим. Вон, смотри: Пастернак грядку грабелями боронит; а вот Ахматова с Бродским вежливо спорят о величии замысла, пьют водочку из наперстков и закусывают черешней; а вот Пушкин с удочкой сидит у прудка, смотрит на воду и разговаривает с водицей; Заболоцкий дрова колет — мелко так и ровненько, садится на колодку — комель березовый — и закусывает «Северок», папиросочку малую да злую; а вот Лермонтов с барышнями в серсо играет — резвый и веселый, но временами оглядываясь на темный лес, набухший окрест поселенья; Тютчев с Боратынским в угадку играют: чьи строки-стихи? — Тютчев часто посматривает на небо, тоскуя по Елене; Хлебников сидит у заливычка речного и кушает с газетки хлеб с огурцами малосольными, рядом с ним (он часто трогает ее) наволочка с пухом лебединым и свиристельным; Цветаева с Тарковским гуляют по аллейке и, попадая в тень от куста, целуются; Мандельштам что-то пишет на прибрежном песке на арамейском среди волооких купав, лотосов и лилий; Боря Рыжий играет в подкидного с Деном Новиковым, и тут подходит, хромая, Гриша Дашевский и присоединяется — решили продолжить игру, но уже в переводного, транзитного; Садовской на коляске инвалидной катается с горки, а страхует его, придерживает за спинку каталки Кузмин; Блок сидит один; Жуковский с Вяземским пьют пунш в беседке; Крылов, похудевший, постройневший точит карандаши, как грек в Эгейском море, — прямо в речку слетает кудрявая легкая стружка; Лена Шварц стоит в прудовой теплой водичке по бедра — в купальнике, — а присесть в пучину боится; Лёня Губанов играет на губе; Веневитинов ходит туда-сюда: знакомится со всеми; Рильке громко читает стихи Мандельштама («Соломинку» с прицепами); с приятным акцентом; Есенин и Маяковский играют в лаун-теннис — молча, зло, напористо, яростно и бесконечно; Витя Смирнов с Игорем Сахновским занимаются бегами жуков — пока на стадии тренировки; Набоков пишет

стихотворение — вечное, прекрасное и неповторимое, и все это чувствуют; Женя Туренко плачет над стихами Бориса Поплавского, который, в свою очередь, плачет над стихами Туренко; Саша Сопровский пишет статью о поэзии группы «Неподвижное время»; Фет и Анненский ходят по пятам за Державиным и читают на два голоса (низким и высоким) его «Снегиря»; Иван Барков первым замечает тебя и кричит — негромко, так, чтобы слышал только ты: «Не убили тебя, милый? Давайте к нам, к нашему шалашу: я вижу, ты не один...»

Дисбат, зона, колония — это один день, черный и белый, длящийся месяцами: дырявый день, не твой — ты не в нем, ты в себе, изредка выглядываешь в дыры земные. Война — это одна ночь, черная и белая, длящаяся месяцами: ни прогалинки, ни прорехи небесной — только дыры и канавки в земле. Окопы-окопчики. Лежки. Брустверы. Каменные подковки, выложенные из булыжников радиально, с просмотрами сквозными — для ствола и взгляда. Становишься не частью ландшафта, а прямо и насквозь — землей. Лежишь как язычник — дома, в земле, в камнях, в глине, в песке, в растениях диковинных и колющих-режущих, ядовитых и молчаливых... Колонну накрыли три вертолета. Они ходят тройками, а не парами, как наши. Ты берешь ПКТ с бронебойными и разрывными (через один — в ленте) и ловишь рыбе брюшко вертолета. Стреляешь не очередью, а дуплетами: раз-два, раз-два, раз-два... Разлетелись, гады. Боятся. Просекли, что это не партизаны, а русские. Зассали... Вовка уполз на вершину африканской каменной горки — и ждет. РПГ-7 — говно. Вверх плюет слабо. Но Володя Симак — орел. Дождлся. Врезал. Одна лопасть от взорвавшегося тихохода подлетает к Ивану и замирает у ног, чуть-чуть, слегка, почти нежно касаясь штурмового башмака. Готов. Второго приземляет Сакен. Молодец, Абылхапчыч! — он бьет из СВД — пилоту в глаз. В левый. Почему, Сакен, именно в левый? — Ближе к сердцу... Третий уходит. Быстро и без красиво-лихих виражей. Удирает... У нас есть 45 минут: они вернутся двумя-тремя звеньями по три. Ребята находят подходящий буш — туда переносят всех холодных и раненых. Группа разведчиков Ивана взбирается на горку и разворачивает КПВТ — эта хелня броневики пробивает и рушит. Итак, бронебойные, зажигательные. Плюс по ходу предполагаемого налета готовят два ПКТ и четыре РПК. Стрелять — только со спины. Лежишь на земле ровно, упираешь приклад ПКТ или РПК в камни под углом 45–60°. Ждешь. КПВТ у Вовы. ПКТ — у Юры и у бойкого морпеха из порушенной роты, звать — Петя. Как Яковенко, убитого прямым попаданием мины летучей в Лаосе. Петя боец спокойный и старательный: Петя, ты, главное, не спеши, хе.ачь, сдвоенными, дуплетами, как по уткам из дробовика. КПВТ установили на каменную бабу, которую сложили в пять минут. У Вовки два вторых номера. Помощнички. Все. 45 минут. Время «Ч». В буше там всем молчать. Особенно убитым. В горле ком от такой шутки, но на душе становится легче: *наши мертвые нас не оставят в беде наши павшие как часовые...* По сто водяры. Сигаретка на двоих-троих... *Отражается небо в лесу как в воде и деревья стоят голубые...* Негроиды ищут колонну. Колонну с убитыми, ранеными и уцелевшими *soviets*. Негроиды белые и черные. И, сука, серые. Вот щас и почиаемся. Главное не плакать, не выть и не ссать. Устали? А Бог не устал видеть все это?!

Вертолеты вернулись. Шесть бортов. Шли двойным веером с чередующимися двумя уступами влево и вправо. Они шли прямо на Вовку и остальных. Все — капец. 200 метров. 150 метров. Молчать!!! Ждать!!! Идут, гады, осторожно, опасливо... 100 метров... Огонь по команде (это Иван кинул по цепи)! 80 метров. 60 метров. Так. Пора. АГОНЬ! Володя срезает два в центре веера, еще один слева задымил. Юрка своим РПК разваливает четвертого. Иван орет: — Четыре ноль!!! Семь стволов пулеметных. И КПВТ, и два ПКТ, и все РПК, АКМ умолкают: два вертолета расходятся в стороны по флангам. По левому — ВСЕ — АГОНЬ. Все. Нет левого... Правый уходит. Уже не вернется... Нет, так не бывает, думает Ваня, но в башке стучит: мы это сделали! Это вам за наших...

Иван вдруг заметил: язычники! На войне, в бою мы все — язычники. Ханы Чингизы, князья Невские... Война — это ночь, сегодня она — белая.

...Иван Семёнович Барков жарил рыбу на камушках каленых. Рядом сидели Дельвиг, Полежаев и Батюшков. Сумароков вышел из леска с охапкой хвороста. Бросил ее на землю и стал выбирать хворостины и ломать их — беззвучно. Охапка хвороста упала — беззвучно. Рыба на горячих камнях шипела беззвучно. А вот голоса были слышны. Голоса поэтов... Лермонтов громко рассмеялся и быстро положил в карман белого длинного сюртука золотой гребень. Тот самый. Роковой. Встретивший пулю Мартынова и отразивший ее, направив вверх — в тулово, в легкое, потом в ключицу, отразившую свинец и направившую его вниз, опять в легкое... Такие дела... Граф Комаровский с князем Вяземским играли в большие шахматы, расхаживая между фигурами с умным видом — остроумец и безумный. Безумие побеждало. До мата оставались два хода. Пётр Андреич улыбался: радость Комаровскому, какая-никакая... Грибоедов музицировал. Где-то в домике. Его не было видно. Музыка была слышна не только хорошо, но и заметна глазу: ей подчинялись и птицы, и цветы, и стрекозы...

Нужно было уходить... Нет. Залечь в буше, в этом же квадрате. Если будут искать с воздуха — рванут сюда и дальше. Иван отправил Сакена с каракалпаками топтать трехжильную пешеходку — чтоб с неба было видно... Остались в буше: ни костра, ни сигареты. Только галеты, сгущенка, пять литров воды на десятки бойцов. И — водка. Не перебарщивать! Убью! Володя, собери фляжки... Ночь вошла в буш на час раньше положенного срока. Через час по населенному МП квадрату ударили русские грады. Мимо. Стороннее. Как-то левее. Нет, не наши (ошибочно, рассеянный огонь). С наших установок работали черненькие. Иван лежал с закрытыми глазами и видел, как эти засранцы в новенькой англосаксонской униформе радуются каждому пуску, а особенно взрывам, плоским, широким и глухим до глухоты в желудке. Окружают?.. Два десятка раненых. Куда двигать? Или напролом. А то ведь всех положат — как одного и как пить дать. Черные расхерачили квадратов десять, в том числе и тот, где хоронила МП. К утру стало стихать. Ракетки иссякли. Суки. Из этой землерубки вышли впятером: Вовка, Юра, Сакен, один «овражный» с оторванной (отстреленной ПКТ) рукой и Ваня. Вышли из зарослей открыто: один хрен, ничего нет — все уехали на градовских таратайках. Посмотрели друг на друга. Разделись. Промазались. Перевязались. Вкололись антидотами и обезболом. Оделись. Проглотили по кремлевской таблетке, пожрали, выпили по двести граммов водки — покурили. Взвалили сидора, набитые водой, водкой и хавкой. На каждое плечо (2–3 на одного чело-

века) накинута по АК-47 и РПК. Вовка взял ПКТ (тяжеленный, да еще с лентами). И в открытую двинулись на восток. Потом по ломанной линии — на север, потом опять на восток: 5 км (восток) — 5 км (север) — 5 км (восток) — 5 км (север). Шли молча. Злые. Попадись кто — перебили бы на хрен. И не закопали. Шли не колонной, а зигзагом. Впереди Иван, как в Лаосе, будь он неладен, когда Петю Яковенко разметало миной. Замыкающий — Юра. А рядом с ним, как всегда, Сакен, его друган, корефан и братан... Господи, помоги им и спаси их, грешных и живых! — Ваня шел сквозь сухие слезы жары, чужой земли, глаз, сердца. Ему больно физически — за все, что произошло. Убитых прикопали. Но — гиены найдут. Да и остальные хышники, будь они здоровы и пусть не кашляют... Война, да?.. Да?! — я спрашиваю. Кого — спрашиваю?! Сука, себя спрашиваю. Верхние интересы государства, рабочих и крестьян? Да-а-а... Он оглянулся — далеко позади над бушем кружили грифы. Много. Сотни. Жратвы много. Стервятники. Трупеды. Птицы. Воздух любит птиц. А нас не любит...

Шли по белому песку, как по толченому стеклу. Здесь миллионы лет назад было море. Океан. Нужен океан. Найти шаланду — и уйти, вползти, всплыть, вкарабкаться веслами в щель между двумя океанами — воздушным и водяным, соленым, как кровь песка, которую выпустили силы небесные, — песка, выжатого всей жаркой тяжестью солнца. Пятеро шли, выходили. Это называется у МП — «выходить». Не бежать, не уходить, а выходить. Почему «выходить»? Из боя? — это невозможно: гражданская война — бесконечна и повсюдна. Из войны? — это невозможно: война случается каждое мгновение — вся планета пылает синим пламенем («Сгорая спирт похож на пионерку когда она волнуется когда...» — так скажет через дюжину лет Саша Ерёменко, Ерёма, тоже стармос — только ТФ, а СФ наш от него далече, как Африка эта долбанная от Москвы с красными полотнищами, вывешенными то ли к похоронам очередным, то ли в ожидании коммунизма). Пятеро выходили. Пять — из 12 разведчиков и ротной сотни морпехов, уловленных чернотой и кубинцами в овраге. Пять. Всего пять. Выть хочется. Идешь, соблюдая двухколонный уступ вправо и влево. Бнять, пятеро — это уже колонна! И уступы — хрен прицелишься. Откуда? — Только с воздуха. Ты бы, моб твою ять, кинул сюда на вертолах десант — голов двадцать, и все — нам конец. Эти гады догадаются?.. Да. Могут. Нужно искать высотку — хрен возьмут. Патроны есть. Гранаты. Два гранатомета. Пулеметы. Идем, как верблюды к Моисею в пустыне Египетской. Моисей был башка. Настоящий царь и МП. Всех обделал и уделал... Тебе кажется, что-кто-то шестой идет рядом... Чувствуешь — свой. Живой? Мертвый? Кто? Это? Страшно глянуть влево. Но — точно — кто-то идет... Мертвый? Догнал нас. И — воскрес? Стрельнешь шарами влево — так быстро, что аж больно глазами... Арэфьев? Нееет... Откуда?

Высотку нашли. Всю поросшую акациями шипованными и дикообразными. Прикопались. Обложились камнем. Будет десант? Будут добивать?.. Ночью кушали последнюю банку перловки с тушенкой, гоняя ее по кругу. Ели с ножичка Ваниного, швейцарского — лезвие узкое, много не возьмешь, но все одно в рот кое-что закинешь. Выпили по 100 водки. В темноте закурили в кулаки. И все молча. Немые. И мертвый слева от Ивана стоит — водки хочет. И курить хочет. Спали по трое — двое на шухере. Начало светать. Рассвело

быстро, будто свет в кухне хрущёвской включили. Гул пошел. Вертолеты. Откуда? С тыла? Или из пункта, мать его, назначения?.. — Ну что, парни... — Ваня помолчал. И продолжил: — Помирать будем. Как отцы наши и деды... А может, свезет — и отобьемся... Главное — ничего и никого не бояться... Все. По местам стоять. С якоря не сниматься. Сушить весла. Поплывем — пойдем, сука, по воздуху. Все. К бою!..

Вертолеты шли не с тыла. Двигатели гудели, потрескивая и подвывая, по-нашему, по-миновскому. Три единицы. У них есть наши вертопрахи. Ждем...

Ждем. Огонь придержать. Ждать... Один, ведущий, вертолет прошел прямо над ними. Можно было замочить с полплевка. Пропустили. Рядом с Володей упала какая-то тряпка. С воздуха? Три патрона АК-47 завернуты в тряпку. Вовка подполз. «Бнать, щас рванет», — подумал Юрка... Вова развернул увесистую тряпочку, ссыпав патрончики в ладонь — *вымпел андреевский*. Диагональный белый крест на голубом поле.

— Вовка, не вставай!!! Провокация!..

Но Вова встал во все свои 203 сантиметра, подняв вымпел над головой и вытянув руку так, будто делал блок перед баскетбольшим кольцом, в котором застряло чужое, маленькое, как лимон, солнце. Вовка улыбался и искал глазами Ивана. — Наши!

Эвакуация группы — две минуты. Все три геликоптера строем пошли в сторону базы... В просторном отсеке МИ-8 ты видишь загорелую рожу офицера. Незнакомого. Но глаза — родные: Печерский! Уже майор, или кап-три! Здесь! В этом дерьме! С кем он? С ротой? С батальоном штурмовым МП? Да уж, ввстречча!

Присели. Все — к машине. И всех пятерых — в штабной шатер. Доклад... Орлов? Молодцы. Потери огромные. Не ваша вина — и волосы на жопах не рвите. Не салаги. Все — к карте. Орлов, показывай. Здесь повстанцы. Здесь родезийцы. Здесь кубинцы. Здесь французы, легион, — в бои не вступают. Здесь кубинцы. Около двухсот. Лагерь. Вода в ржавых танках — видно с воздуха, с земли — невидимки. Здесь овраг. 44 холодных. Вышли на овраг случайно. Выполняли свою задачу. Три языка оставили в дружественном племени. В наручниках. Ноги переломали. Эвакуировать их надо прямо сейчас. — Покажешь где? — Так точно. — Так, вся группа (пятеро, да?) — в вертолет. И — за говорунами. Кто языки? — Два офицера и унтер-офицер. Один из белых. Один черный. Один повстанец. — Все. Ясно. Вперед — к борту. Идем немедленно...

Ваня сидел на покоцанной седухе, покрытой то ли брезентом, то ли лысой искусственной кожей, в десантном отсеке вертолета. Сидел он хорошо — между Юрой и Вовкой, напротив сидели знакомые МП и Сакен, раненого Дзинтарса (Ваську), снайпера, оставили на базе. В голове включилась музыка из «Красной палатки» — лучшая вещь Саши (так его Ваня называл в себе) Зацепина. Потом он напишет много чего, и для Пугачёвой тоже — так: морковный кофе для советского обывателя, преимущественно для бабонек. Со слезой. С надрывчиком. В общем, фуфло. А вот треки из фильма «Красная палатка» (да еще в паре с Эннио Морриконе) — вещь. Прямо в нутро, в душу. В иллюминаторе-бойнице, внизу, текла пустынюшка, покрытая песчаной волной, как в море-океяне. Иван вздрогнул — точнее, содрогнулся, как от удара изнутри, внутри, в груди: на ум вдруг пришли два стишка — вместе, парой,

почти обнявшись, как две части жизни, — одна светлая, ясная, другая — смутная, мучительно призрачная и не от мира сего: сначала пушкинские nereиды.

*Среди зеленых волн лобзающих Тавриду
На утренней заре я видел Нереиду
Скрытый меж деревьев едва я смел дохнуть
Над ясной влагою полубогини грудь
Младую белую как лебедь воздымала
И пену из власов струею выжимала...*

Вот: жизнь — любовь — смерть (прекрасная, от любви, вожделения и красоты)... Потом, вдруг, ниоткуда (из госпиталя, где лечил контузию) — месяц спал с открытыми глазами и где была офигенная библиотека, и где в «Литучебе» нашлось это коротенькое стихотворение Мандельштама, Осипа Эмильевича, загадочного и невероятного, нездешнего, несоветского, неземного, ненебесного, но морского поэта.

*Нереиды мои nereиды
Вам рыданья еда и питье
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое...*

«Нереиды» — со строчной буковки, а? Звучит как «народы мои, вы народы...» Слезы — еда и питье поэту. Любому. Всякому. Каждому. И сострадание мое, наше, ваше обидно *вам*, потому что вы рождены и возвращены *обидой*. Обидой неНептуна и неПосейдона: они — миф, призраки. Обидой воды, бьющейся в сушу, отражающейся в небе, в глазах Пушкина и Мандельштама, Юры, Володи, Сакена — в моих глазах. Воды, не могущей стать скалой, светом, песком, ветром. Воды, состоящей из слез — горько-соленых. И твоих тоже...

Пленных и оставленных в дружественном племени (три тысячи долларов США — за этот ихний, твою роту, постой) брали почти с боем. Не отдают — и все. Хоть тресни. Тогда Вова простучал азбуку боя — в воздух — из ПКТ, а этот инструмент работает так сильно и эффективно, что слова сваливают к экватору... Отдали. Гордо улыбаясь. Хорошие ребята эти, живущие голышом. Им эта война на хрен не нужна...

В самолете, идущем на Мурманск, Ваня думал стихи вперемешку с горькой мыслишкой о том, что они, бойцы, не будут стоять с оружием и наградами под знаменем СФ и бригады МП — ни в Мурманске, ни в Североморске, ни в Москвище. Они будут стоять по одному ночью, на плацу, когда не спится, в тьме-тьмущей. Будут стоять и плакать. Будут выплакивать из себя Баренцево море — до донышка. А потом вернутся в кубрик и выпьют бутылку водки — до дна.

Человечество не хочет и не может разобраться в себе и с собой — поэтому воюет с тем, кто не против повоевать, с тем, кто послабее. Естественный отбор? Не знаешь. — Спроси у Клим. У Клим Самгина. Или у автора-родителя сего Клим, этого носителя ницшеан-

ско-фрейдистских усищ. Усища огромны и вязки (в поцелуе), как водоросли... Ты второй день ходишь, спишь, стоишь, не понимая, что произошло: рабфаковский стройотряд разогнали, потом собрали и отправили уже как колхозную бригаду в Большой исток, городок-поселок на юго-востоке города, недалеко — километров двадцать. Журналисты и один филолог (Ваня) — отдельная бригада. Поселили в дырявом бараке, хуже и ветше дисбатовского. Через перегородку жила еще одна бригада: философы и один филолог (Шуня), с ним познакомились уже под конец всех работ, перед колхозным дембелем.

* * *

Уралниисхоз напоминал Шатры — своим промежуточным состоянием между городом и деревней, своими двухэтажными домиками, которые строились пленными немцами, своими ужасными дорогами внутри и окрест и своей единственной шоссейкой, проходившей через центр поселка, то бишь улицей, или улочкой, Ленина. Товарища Ленина. Было известно, что у Ленина была жена и две-три любовницы. А может, и четыре. А были у него друзья? Мужики? Здесь Лениниана молчит. Ленин дружил только с Карлом Марксом, то есть с книгой и книгами товарища Марксаэнгельса и все такое. Пятое-десятое. Журналисты приняли Ивана нормально, вполне дружелюбно, но малость настороженно и даже опасливо: за Ваней маячило что-то темное и гибельное — война. Иван об этом — ни слова. Он решил все позабыть. И теперь, действительно, все медленно, с усилием Ивана, но верно — забывалось... Ваня чувствовал себя в поселке овощном, показательном и почти коммунистическом чужим — городским. Странно: в Шатрах он был деревенским, в Свердловске — тоже деревенским, в Мурманске и везде на Кольском — городским, в командировках, на иных континентах он понял впервые и по-настоящему, что он не советский, но русский... Так кто же вы, Ваня? — вопрошал он себя: деревня — город — Россия, или колхоз, совхоз, промышленный центр, СССР, РСФСР и прочее? Социально-географическая шизофрения ласкала душу, думающую принятые Бог весть откуда стихи. И ладно. И славно, как говаривала бабушка Наталья Григорьевна... Он вдруг подружился с Кулькиным Серёгой, журналюгой лет тридцати (о, рабфак!) из Новосибирска. Он был похож на Юрку Дмитриева — такой же богатырь, но пониже ростом. В забаве тягаться на ручках (локти на стол, сцепились клешнями — и поехали) Серёге не было равных. Но вдруг Ваня положил его на обе, поочередно. Особенно на левую, которая почти не пострадала в походах. Правая была ломанная-переломанная, а левая — уцелела. Тем паче левая у Вани была основной, базовой колотушкой (крюк, полукрюк), но он никогда не демонстрировал ее в деле: дал себе слово не применять никогда и нигде то, что умел. Не дай Боже!..

Иван часто думал о том, что он мог бы стать нехреновым убийцей, душегубом — где угодно: в шайках уралмашевских, в ментовке, в армии, кабы остался на сверхсрочную. Но... — спасибо правой ноге: это чистая комиссовка, списание тебя не с корабля, а с берега морского. Бог миловал и надоумил. Да и не был этот книгочей и стихолюб приспособлен к гражданской полуподпольной грязной жизни. Он был *слишком* добр и мягок в отношениях людских, человеческих, недочеловеческих и нечеловеческих.

В день приезда рабфаковской бригады (журфак и lonely philologist; остальные, философы и еще один lonely philologist, подъедут через три дня) ребята зашли в павильончик с названием «ПИВО», надо сказать, что ребят этих было ровно пятнадцать человек. Бригадир — Ваня. Вошли в этот пивной амбарчик, заказали по две кружки пива. Первую пили залпом. Выпили, выпучили шары, онемели, окаменели: пиво было с дустом, видимо, для крепости, видимо, местным алкоголикам нравилось так — горлодерно, с вывихом кишок, с вязанием их морским узлом — в кишечный кулак. В общем, поносно. Вышли на волю. Обошли эту срань пластиковую цвета «ораньдзь в попе». Зашли с фасада, наклонились. Ухватились клешнями за нижний край передней стенки. На счет три — подняли эту скорлупку и кинули ее, толкнули вперед так, чтобы кувыркнулась она на крышу односкатную. Открылась внутренняя картинка, так сказать атлас утробы пивнухи. Шесть ящиков «Жигулевского», бутилированного, плюс какое-то дерьмо самопальное в форме пирожков. Алекс Добжинский, бойкий, рыжий и ражий очеркист (настоящая фамилия Шортников — ну, шорты: слово новое, но вкусное, как бюстгалтер) вскрикнул, почти взвизгнул: «И с этим мы — в коммунизм?!» — и добавил грустно, но еще громче: «За пирожки с говном ответишь, кавказ!» Кавказец, хозяин гадюшника, улыбнулся: мол, парни, не бейте, а? Кинули ему по рублю за пиво и пошли по адресу к своему барaku — ветер дунет, ракушка пластиковая обратно встанет: жди северного ветра, гаденыш! Сиверко... Знать, будет нынче. Знато будет...

Устроились в бараке на краю картофельного поля. Конец июля-начало августа: с голоду не помрем — картошка под боком, копать — ночью, кушать всегда. Есть. Жрать. Насыщаться. Молодость подружила всех моментально — в походно-выездных условиях она работала мощно, соединяя парней в бригаду. Просто — в бригаду, — и упраздня — на корню — все предпосылки к раздорам, ссорам и разборкам. Молодость рассовечивает. Молодость берет все лучшее, что бывало в армии (а служили все до одного), на заводах-фабриках-работах. Молодость рассовечивает и рассвечивает зрение, расширяя его, но не углубляя: коллектив, какой он ни есть, вырабатывает хоровое, общее, слаженное существование, но и заражает опять же хоровыми эмоциями и ощущениями. В первый же ночной вечер в корявой комнате (шесть на четыре метра), в темноте, мигающей красными, оранжевыми и золотыми огоньками раскуренных сигарет, в тишине нового места вдруг Серёга Кулькин, симбирский амбал и любитель Пушкина и Есенина (знал и часто по пьянке и по просьбам друзей читал наизусть всего «Онегина» и всю «Анну Снегину»), вдруг и совсем неожиданно обратился к Ивану: мол, Ваня, расскажи о флоте, о Заполярье, о северном (полярном, что ли?) сиянии. Иван отговорился как отрезал: служил, мол, в морской авиации, могу военный билет показать, а хромаю по дурости; и абсолютно серьезно добавил: две пули 7, 62 — по одной на каждую ногу. А че? — Бывает... А вот зато я официально стригу; думаю, настриг я вагона два волосни, ходили ко мне все (с базы), и офицеры зааживали — все ж экономия да и дружба с рядовым составом... Ты в первый же день дембеля решил так: дома, в Свердловске, в Шатрах и где угодно — ни слова об МП, дисбате, разведке и командировках (давал три подписки о неразглашении: две на двадцать пять и одну на тридцать лет). И вас, мол, буду стричь — машинка (механическая, ручная) с собой. Бокс, полубокс, под ноль, спортивная молодежная — любая. А стихи... Нет,

не пишу. Я их думаю. Записываю редко. Да и дерьмо все это. Слабо. После Тютчева и Мандельштама (правда читал-то всего текстов с десятков, не более) — особенно. Однажды «черные носилки» и «солнце» случились у меня в стихах — еще до знакомства с Осипом Эмильевичем. Боюсь. Надо бы все прочитать. Все стихи всех поэтов, а?.. А то как в детстве выйдет: пишу (лет в 10–12 моих) «Горит костер рябины красной, и никого не может он согреть...» А потом через год читаю Есенина — и сжигаю в туалете, в тазике жестяном свои тетрадошки, блокнотики — все сжигаю... Такие дела... Пацаны, пока Иван говорил, позасыпали. Один Серёга не спит. Вышли на волю. Сели на гнилую завалинку. Закурили. Помолчали. И отправились назад — спать...

В тамбуре, или в сенях, барака Серёга остановил Ваню, положив тяжелую руку ему на плечо:

— Ты сидел?

— А что, заметно?

— Нет. Но я как-то почувствовал в тебе это.

— Да. Немного. Дисбат... Никому, ладно?

— Мог бы и не уточнять. Конечно. Универ — то, се... Я понимаю.

В комнате, где спали, воздух потяжелел. Серёга негромко заметил: — Воздух спернутый.

— Ага, пораспускали задницы...

— Слюшай, дарагой, ты када спиш, кантралируиш себя, да?

— Нэт, генацвале, сацибели, сокаури, нэт, дарагой, нэ кантралирую пока, да?..

Уснули они с улыбкой во рту, но не выпуская ее наружу, на губы: кто жывал в казенных домах (армия, тюрьма, общага, дом колхозника и колхозницы), — тот спит с лицом строгим, спокойным и мутным, как вода в аквариуме...

Отряд рабфаковский называли (неофициально) «Кардиология»: умер-то студент-биолог от сердечного приступа, и все стройотряды в городе разогнали по колхозам — беречь сердечки свои в бараках, сарайках, кушать ворованную с поля картошку (о, картофан!), пить пахнущую резиной водку и пиво с дустом по райцентрам... Пока кардиологи работали на овощах — огурцы (основное), помидоры (их было мало), а капусты и картошку еще не копали — рано: обычно это делали в сентябре. Сегодня и завтра случились выходные: какой-то местный праздник, который ребята почему-то называли Праздником Утопления Карася. Особенно понятным смысл такого названия был для бывших срочников-дембелей: карась — это уже не салага, а боец, прослуживший целый (!) год из двух положенных. Почему — утопление? Где — утопление? Ну, с праздником все ясно: всесоюзная, всероссийская, областная, городская, районная и сельская пьянка. Всеобщая и беспощадная (как в День строителя: гуляют — все!).

Пацаны все уехали в Свердловск, глотнуть пыльного, дымного и тяжелого воздуха, источника всяческой промышленности. Иван остался один. За старшего. Старший остался за старшего. Он сидел на койке в трусах и курил, «Приму», конечно, местную, но без дуста... Сидишь вот так — один-одинешенек — никому на хрен не нужный. Галя, Света, Оля и т. д. Думаешь о них (почти всегда), но сейчас почему-то не думается. И не воображается. И к рукоблудию не тянет. В общем, тоска. Тоскливо жить. Жить — это как? А умер — это

как? А ни жив, ни мертв — это как? А умер — это где?.. Сидишь, пьешь спитой, третичной заварки, чай — и заблуждаешь себя в своих размышлениях. Тебе двадцать два. «Красивый, двадцатидвухлетний» — это он о себе. Маяковский — о себе. Нарциссизм. Пролетарский. Тупой и здоровый, как молодое государство наше. Стыдно. Итак, поэзия нужна всем? Поэзия нужна? Поэзия никому не нужна? Поэзия нужна Богу? Поэзия нужна девочкам? Поэзия просто есть. И она, «энта паезия» (как говорит Серёга), почему-то втянула тебя в себя... 6, 7, 8, 9, 10, 11 — как жить с ней? С поэзией? Как жить без нее?.. А умер — это где?.. Завтра вечером все вернутся, съедутся — с подарками, едой и водкой... Вот — жизнь... Одиночество — лучше всего: оно порождает воображение, видения, сны вне сна, мечты вне мечты, желания вне желаний, жизнь вне жизни, любовь вне любви и смерть вне смерти. Без смерти... Красивый — двадцатидвухлетний. Урод. Кто? — я или Маяковский. Или оба?.. Невозможно быть всем и всеми и жить, как все и все. Почему? Для тебя это губительно. Губительно — одно и то же. Из дня в день. Из души в душу. Но и поэзия — одна и одно и то же: жизньсмерть-любовь... Конечно, проще так, как все: мочилровка в Мончегорске; дубаситься в Дубаях, в Дубровке; махаловка в Махачкале (убиенный Петя Яковенко из Махачкалы был, а погрома у него была «Махач»: он был огромен, в нем было пятьдесят кровей, но побеждали русская и кавказская; силач, но добряк изумительный и изумляющий; боец — один из лучших, особенно в рукопашке и в стрельбе по бронетехнике противника из РПГ-7; он всегда — в свободное от нас и себя время — читал одну и ту же книгу — Лермонтовского «Героя»); кулачный бой под Кулаковкой после Поля Куликова; ну и кое-что под Пизой, Пензой и Пинском... Скушно, господа офицеры... Скушно... Петя — одну книгу. И ты — одну другую иную жизнь — стихи... Не они в тебе. Они всюду. Это ты — в них. Все — ты кропал для этих огородников, танкостроителей, комсомольцев и камунисоф.

Махач, Петя Яковенко, убитый миной в Лаосе, читал одну и ту же книгу. Можно было бы горько и глупо пошутить: герой читал «Героя...» Лермонтовского, но... Одну книгу читал... А ты думаешь одну книгу, всю свою недолгую жизнь. Думаешь стихи, как думают цемент, песок, кирпич и тес для постройки дома. Каждую деталь, каждый предметик думают. Каждая строка, любой продумываемый, вытаскиваемый из бездны тьмы текст, стихок — это часть книги... Кажется, так оно и есть...

Ребята приехали. Усталые. Уже не шумные и не безобразники. Алекс Добжинский, уроженец малого фабричного города с Южного Урала, игравший роль этакого полуиностранца, почти русского с почти польской фамилией, парня, битлолюба и дипперплзнатца, с почти акцентом почти явного англосаксонского происхождения, — «красавец» с хорошим деревенским финно-угорским лицом — стоял посередь колхозного общего жилища барачного типа и произносил монолог о роли марксистско-ленинской философии в современной жизни современной молодой молодежи. Он стоял, широко поставив ноги, спиной к печной плите с ведром кипящей воды для картошки и яиц (куриных). Руки в карманах. Алекс притомился, замешкался, заплутал в липких и неприглядных водорослях шутиливой идеологии. Он подпрыгнул. Выпятил грудь и сжал руки в карманах.

— Эй, шестипалый, скоко время? Двенадцать или полшестого? — Ваня спрашивал строго, но справедливо. — Алекс выдернул руки из карманов, как пару осотов из грядки — даже ладони вытер о штаны:

— А вы, досточтимый убийца Моби Диков, какого хрена не читаете Ленина? — все рассмеялись.

— Хочешь, Алекс, старую историю из детства Ильича. Нашего Ильича?

— Что-то новое, уникальное, суперлативное?

— Да нет, все знают историю. Но не до конца. Вот она. Надеюсь, здесь нет молчи-молчи?

— Молчи-молчи? Что за животное такое?

— На флоте так зовут особистов и политотдельцев. Надеюсь, нет.

— Среди нас нет ни чекистов, ни бандеровцев, ни смершевцев, ни лесных братьев. Здесь только братья по разуму. — Иван начал:

— Ну вот. Как-то Ленин, еще в детстве, в глубоко нереволуционном состоянии увидел дома, в гостиной, на столе широкую хрустальную, такую мешанскую вазу-блюдо со сливами, которые еще не пробовал. Ну, ему было четыре-пять. Берегли парнишку. Смотрит он — никого нет...

— И молчи-молчи нет?

— Ну да, ни-ко-го. Схватил он одну сливу, нет, прямо сливищу, жевнул ее пару раз и проглотил. Про косточку он не знал — и ничего не заметил, так сказать, не ощутил... Вечером пришел с работы папаша семейства Ульяновых. Расположился в гостиной. Просмотрел в газету. Все вздор. Сор и дряг. Отбросил он газетенку. Встал. Подошел к столу. К вазе со сливами. Машинально пересчитал. О-о-о! Одной не хватало... За ужином папаша, когда все уселись вокруг стола (в центре — ваза со сливами), говорит, мол, что за фигня: кто-то одну сливу слопал. Я, мол, пересчитал — не хватает (щедрый был человек). Дети напряглись, ну там Саша, Маняша, Володя и т. д. А Вова-то, Ильич-то наш, вообще побледнел-посинел. Папаша продолжает: мол, в сливах есть косточки, и кто эту косточку, хоть одну, проглотит, тот точно помрет, так как не выкакать ее — нельзя, невозможно... Тут Вова, наш Ильич будущий, раскололся — заплакал, заканючил, завыл... Его, конечно, успокоили... Но прошло много-много лет и сей эсдэк, большевик вдруг украл и сожрал сливу России. С косточкой. А косточку не высрал — и помер. Умег от запоба мозга. И все, кто глотал Россию с косточкой, — подыхали: задница и головной мозг разрывались. У Троцкого, у Зиновьева, у Каменева, у Бухарчика (так его, любя, звал Ильич: «наш Бухарчик»), у товарища Сталина, у Хруща... Мораль сей басни такова: Зайчонок ложит хрен на Льва.

Все поржали. Повеселели. Чуток испугались. Посерьезнели. Серёга Кулькин встал, подбросил дровишек в печку:

— Пошли, ребята, картофан воровать... И сливы...

Ежедневно происходил ранний подъем. Пустой чай. Еды было мало или не было совсем. Денег пока не давали — за работу. Занимались «урожайцы» грузчицкой («грузины») работой: стаскивали ящики с огурцами и другими овощами от теплиц и с гряд, длинных, как взлетка для истребителей СУ (первых, стремительных, долетавших от Мурмана до Питера за семь минут); сдавали принесенное приемщице, которая сортировала — на глаз — прямо ящиками огурцы: это высший, это второй, это первый сорт, это нестандарт. Потом делались

документы на все огурчики, которые оказывались почти все высшего сорта, но оформлялись как второй. Через пару недель Ивана назначили экспедитором: он с водителем зилка татарин Сашей возил овощи в Свердловск, где директоры магазинов продавали нестандарт как первый сорт, а остальные — как высший. Разница ценовая (с машины) была огромной — до двухсот-трехсот рублей). Этот «навар» делился на две части — одна магазину, другая экспедитору (но с деньгами «работал» татарин Саша, Иван делал вид, что ни фига не понимает, да и, прямо говоря, он не совсем понимал сей бизнес советский, он его недопонимал потому, что ему было плевать на это изобилие «капустных денег»).

От всех этих совхозно-колхозно-советских игр ему было тошно: ты занимаешься этой работой и знаешь, что все это в финансово-экономическом отношении — блеф. Воровали все. Рабы всегда воруют. И главные рабы, и самый главный — бровастый и вечно целующийся со всеми подряд пьяненький и добренький дядька — воруют. И ты воруеть свою жизнь у себя. В тебе образовывается обрыв перед прорвой, и ты стоишь на краю бездны, но иной: грязной, темной и пьяной, — а твоя бездна — словесная — начинает тебя сторониться...

В конце рабочего дня Иван с водителем Сашей шли в светленький двухэтажный барачок, где в светелочке со спальenkой жил другой Саша — Дядя Саша, который принимал деньги, угощал водкой водителя и экспедитора, сам Дядя Саша выпивал солдатскую кружку водки и запивал горькую солдатской же кружкой молока. Младшие, Татарин и Иван, пили из стопочек, закусывали, курили (Дядя Саша не курил), но недолго: минут 20–30 — и прощались. Дядя Саша давал — всегда — 25 рублей Ване («для пацанов») и 40 рублей водителю. Остальное, около трехсот хрустов, прибирал в буфет, занимавший треть площади всей светелки...

Жить стало лучше. Жить стало веселее. (Как однажды выразился с доброй улыбкой Сталин — он еще не знал, в сливе, которую он сожрал, есть косточка, — косточка России, гибельная для всех, кто глотает эту сливищу целиком.) Две недели парни, рабфаковские-университетские, жили без копейки денег. А что, есть ее и другие копейки? Ну да: жизнь — копейка, судьба — индейка; или — наоборот. Деньги в эти две недели добывали Серёга и Ваня, используя способность Ивана не пьянеть и быстро выпивать — из горла — без отрыва от сосуда поллитровку водки и сразу же запивать ее — тоже без отрыва от пузыря — бомбой чернил (хоть и «Краснодаром», убийственным «портвейном»), то бишь гадкого, гадостного и гадючего вина «плодово-выгодного». Мерзость... Серёга на задах сельпо собирал алкашей, бился с ними об заклад в рубль с носа, что вот этот чувак в тельняге в течение минуты выжрет без отрыва от стеклотары и махом пузырь водки и бомбу винного дерьма — и не упадет, но споет песенку «Как на кладбище Митрофановском» или битловскую «Мишел» на английском. И уже после сольно-вокального выступления убредет спать в студенческий барак. От-так-от... Или сыграет на гитарке любую хрень на заказ — ритмом с элементами баса, ударных и соло на одной, двух и даже трех струнах щипковым манером — так, как это будет делать лет через 8–10 Марк Нопфлер из грядущего «Dire Straits», — это вам не козлячьи и щенячьи ВИА комсомольского разлива. Нет — «РАЗЛИА»...

Но: через две-три недели Дядя Саша начал подкармливать будущее отечественной журналистики и даже филологии. Через пару недель, когда водитель-татарин-саша крепко выпил у Дяди Саши, Ваня пошел провожать одного из участников преступного огуречного

треста домой. По дороге к дому Татарина, которого пришлось полуобнять и страховать бедром — человеческую «коробку», попавшую в качку — штормило: где-то внутри водителя ходили мутные, зеленоватые, с песком морские валы баллов в шесть-семь, — водитель вдруг раскололся: он резко остановился, встал сразу на два якоря и заговорил:

— Вань... знаешь... ты поосторожнее... это... эт-то... блин... дядя саша... он — вор... ты... никому... убьет... убью... ни-ко-му...

— Саш, я уже пропер. Сначала думал, он — кассир. Ан нет — вор. Держит мазу... Все — я онемел и умер...

— Во! Молодец... Веди меня, веревочка, веди... Сколь веревочке не виться...

— Ага... Вот — пришли.

Огурцы шли густым тяжелым потоком, но Саша с Ваней управлялись. Уставали, но выматывались легко, по-молодому: часок поспишь — и в рейс, в Свердловск, с огурцами туда и с деньгами обратно. Через пару дней Дядя Саша, угощая татарина и этого городского водкой, колбасой и деньгами, вдруг подзабылся, чуток оторвался — и выпил не одну положенную «пайковую» кружку водки, а две с половиной. Он преобразился: финно-угорское лицо его, вся его белобрысость и спокойствие, уверенность в правом деле своем обострились. Он вдруг, помолчав (и эти оба, шныри, тоже молчали), рассмеялся.

— Сынки, знаете сколько я оттянул? Четвертак.

— Так много не дают, — удивился Ваня.

— Дают. Еще как дают. Было у меня десять дет за мешок малины, я ж колхозником был. А на зоне перед откидом прислали мне полупальто-москвичку с шалевым коричневым воротником типа цигейка. А пальтишко было красивое: черное с отливом, на меховой подкладке. Вот. Ну, блазота подкатила: сыграем на пальтишко? А откидываюсь я через тройку дней. Нет, говорю, мол, мамаша расстаралась. Не могу. Не буду. Припугнули меня — я их послал. (Кулаки Дяди Саши, как у Кассиуса Клея, с бледными казанками, изящные, но, видимо, крепкие. Стальные.) Последняя ночь в колючих лопухах. Лег на свою шконку: под матрасцем — полупальто, а под подушкой топор. Под утро двое подошли, приняохались. Один достает напильник, другой с пикой. Я их обоих топором огладил. Одному башку снес...

Выпили еще по одной, Дядя Саша — пригубил и запил слова свои и глоток водки кружкой молока.

Дали плюс 15. Не расстреляли. Самооборона, но спланированное. Превышение жизни. Превышение смерти. Превышение воли... Так вот четвертак и выскочил.

— А короновали... — Татарин запнулся.

— А это уже я превысил себя — и со всей крестьянско-пролетарской ненавистью подмял лысого хомяка, а потом и хозяина: деньги — не честь, все сделают. Такая вот история... Превышение у нас по бухлу пошло. Пора стопориться.

Ваня подумал: «От слова “топор” — слезть с топора и дунуть на денюжки...»

Дядя Саша собрал на воле, здесь, в Уралниисхозе, большую, даже для города, библиотеку. Много читал: очки у него были зэковские, на веревочках — две лупы-залупы, шутил

сам. Этот вор никогда не сквернословил. Ни разу не матюгнулся. Да и по фене не нес. Мужичок как мужичок. Правда, с превышением судьбы...

* * *

Колхоз — как ссылка — подходил к концу. Иван постоянно ощущал свою дикость, прежде всего социальную: Дядя Саша был ему симпатичнее, интереснее, чем Донатас Банионис. Иногда дикость выходила из него бурно. Дикость вообще не может уйти по-тихому, на цыпочках и с улыбкой идиота. Дикость выходит и проваливает вон — с пьянкой-гулянкой, с похмельным веселием и с постпохмельным ужасом, тоской... Иван неожиданно для себя стал жить (но — внешне, внешне, внешне), как ему казалось, на всю катушку. Он вспоминал — редко, крайне редко — армию: он запрещал себе думать о том, что было с ним и с ребятами в дисбате, в МП, в командировках, в госпиталях. Он понимал, что он живет неправильно: все — с превышением. С превышением себя, с превышением воли своей. Он не ненавидел себя. Он себя не замечал. Себя — внешнего. Он мимо видел. Мимо видел все, но прежде всего себя. Ты мимо видишь себя, а не сквозь и насквозь, навывлет. Ненавидеть и мимо видеть, точнее — мимовидеть, — это разные душевные процессы. Мимовидеть себя — значит жить по-иному: не внешней житухой, а внутренней мукой... Внутренним слухом, зрением и словом... Такое раздвоение твоего существа было болезненно, но необходимо, чтобы быть в этом обществе, чтобы думать музыку и стихи.

Май, июнь, июль, часть августа и конец апреля (еще дембельского) — это время пустоты, полного душевного обвала, провала, — прорва показалась: прорва жизни обыденной, мирной и пустоватой. Вся эта и такая жизнь держится только на эмоциях, чаще не человеческих, а животных: щенячьих, телячьих восторгах, воробьиных переполохах, голубиной нудности, занудности, ворчливости, собачьей активности — с голоду, с похоти, с водки, с хоровых мыслей и чувствований бытия, которое, не задерживаясь, переливалось из себя в себя, не касаясь так называемой коллективной жизни, толпяного существования, строевого энтузиазма и государственно-общественной лжи, в которую верили и не верили все и которую просто не замечали.

Внутренний мир Ивана дрогнул, пошатнулся, но устоял: он опять замкнулся (в себе), хотя внешне оставался прежним: у него отросла иссиня-черная борода, а волосы — русые — на голове выгорели до финно-угорской белесости. Теперь он — мысленно — сравнивал свой облик с портретом Печорина: светлые волосы и черная борода — признак породы (спасибо деду, его многострадальной родовой кровушке, которую пролили — всю — и власть, и террор красный, и войны, от гражданской до Великой). Кому это интересно? Только тебе. Ты становишься язычником, но Печориным — язычником любви, тоски, ума и заолодевшего сердца. Это язычество общественное, государственное (сколько в Политбюро ЦК КПСС членов-богов?), это язычество не этническое, но городское, урбанистическое, искусственное и бесполое. Не душевное язычество — но душевная дикость, чреватая пьянством, безобразием и уголовщиной. Печорин и душа. А где здесь государство, партия и правительство? Все смешалось в воздухе России, ставшей империей с погремухой СССР. Нет — с погонялом: от существительного «гонения», а также гон, гоньба, гонки (соцсоревнования в труде на благо и т.д.), угон (целых народов Крыма,

Кавказа и кулацких регионов России), прогон и прогонка (по-блатному — ложь, развод, брехня в личных целях, где личное — есть партия и страна).

Иван провалился в эту прорву лжи, игры, инсценирования, репетиций коммунизма в пространстве алкоголизма повального, тотального (водкой торговали уже чуть ли не во дворах городских многоэтажек: рюмочные, рюмочные, рюмочные, забегаловки, пивные, ларьки, киоски и гастрономчики, и магазинчики объемом в спичечный коробок).

Ты живешь, под собою не чуя страны... Сидишь задом в стакане, граненом и с водочкой, а в руке твоей — стакан, в котором отражается двести миллионов стаканов, наполненных живительной влагой. Живительное — заживляет, прислепляет и осчастливливает... Ты бежишь по белому песку Синайской пустыни. Что-то бьет тебя по ногам — сначала по левой (несильно), потом по правой — как стальным ломом, — и ты отрубашешься... Тебе не спится: через три дня возвращаемся в Свердловск, а через неделю начинаются занятия в универе, на филфаке. Страшновато? Да: а вдруг ты полный или частичный дурак, идиот, слабоумный, могущий только думать стихи...

*Мне не спится нет огня
Всюду мрак и сон докучный
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня...*

(Ходики настенные времен царя Гороха — уже достали, дотянулись до точки безумия в этом кучном, хоровом сне пятнадцати молодых мужиков, в этом скучном сне, эротическом и болезненно сладком — до горечи...)

*Парки бабье лепетанье
Спящей ночи трепетанье
Жизни мышь беготня*

(Мышей здесь слишком много; на Коле [Кольском] были крысы... Жизнь убегает от тебя, шумя окрест мышами)...

*Что тревожишь ты меня
Что ты значишь скучный шепот
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня
От меня чего ты хочешь
Ты зовешь или пророчишь
Я понять тебя хочу
Смысла я в тебе ищу...*

Кучный — докучный — скучный поскребной шумок съедает этот смысл, — тот смысл, который снаружи, то бишь — жизнь, но тот смысл, который в тебе, — он уцелевает. Он ждет твоего ума и сердца. А душа — всегда готова...

Кроме двух мужских отрядов «колхозников», в этом поселке работали и девушки: филологи второго-третьего курсов. Среди них была одна особа, Вера Ванина. Фамилия этой милой девушки прямо указывала на Ивана: мол, носительница сего семейного, родового имени имеет явно выраженное отношение к Ване. К Ване Орлову. Влюбленность Ивана имела вторичный, чисто эмоциональный характер: судьбааа!.. Они встречались по вечерам, но не на танцах в Доме культуры, а в садике перед сельской школой, еще пустой, закрытой до начала сентября, а то и до середины-конца этого месяца, до конца уборки картофеля. Ваня и Вера часто и подолгу сидели в сумраке деревенском на скамеечке («как у Христа за пазухой») по-воробыиному: что-то непрестанно говоря и рассказывая друг другу, изредка касаясь друг друга то плечами, то бедрами; Вера всегда немножко отодвигалась в сторону, а Ваня медленно, как шелкопряд, переползал — «шевелия помидорами» — опять поближе к ней, чтобы сидеть вплитирку... Школа была единственным зданием в овощном поселке, которое было построено из белого кирпича. Два этажа, буквой «П», но с короткими ножками. Постройка новая, ставшая ориентиром и для местных, и для приезжих: «У ШКОЛЫ», за школой, около школы, от школы вторая улица в сторону Дома культуры (и «танцев», которые скоро превратятся в дискотеку, в позднее — в ночной клуб (уже в ельцинские времена)).

После долгих сидений (без поцелуев) на пришкольной скамейке, еще дольше — почти до света, до утра — стояли перед баракom, где жили студентки филфака. Однажды Вера вынула из сумочки книжку, белую, в ламинате, блестящую, ладную, просящуюся в руки и в глаза: «Стихотворения» Арсения Тарковского. В имени и фамилии поэта журчало и курлыкало что-то нездешнее и одновременно исконное, родное.

Вера была недотрогой, а Ваня — перед этой милой и странной Ваниной — еще не превратился в слепца любовной романтики и грядущей (где-то далеко-далеко, не видать отсюда — только почувствовать) любви. Он еще не ослеп (он — уже немтырь!), чтобы любить касаниями, оглаживаниями и утыканием лица своего в плечо девушки-женщины, которая пахла еще девочкой, ребенком. Вера была скромницей. А Ваня не стал еще скоромником, срамником (как говаривала бабушка Наташа), напористым парнем, мужиком, преодолевающего наглость похотью, желанием и чего-то совсем уж взрослого-взрослого, почти пошлого и почти грязного... Ты полуобнимаешь не ее плечи, а воздух вокруг плеч, груди, рук. Гравитация желания сильна, но куда мощнее становится она — нереализованной физически. Сплошная, душная метафизика таких отношений, движений и разговоров, тихих и серьезных, мучила тебя (и — ее), но и наслаждала, наполняла межчеловеческое пространство не столько половым и откровенно банальным, почти пошлым, сколько делала это пространство безмерным, твоим, ее, но и не твоим и не ее, а еще чьим-то. Чьим?.. Ты, вы, оба — в беспамятстве... Хорошо и страшно забыть о себе и, опустившись на дно бездны, вдруг подняться к верхним пределам перенапряженной и начинающей уставать бесконечности.

*О только бы привстать опомниться очнуться
И в самый трудный час благословить труды
Вспоившие луга вскормившие сады
В последний раз глотнуть и выгнуть блюдца
Листа ворсистого
Хрустальный мозг воды
Дай каплю мне одну моя трава земная
Дай клятву мне взамен принять в наследство речь
Гортанью разрастись и крови не беречь
Не помнить обо мне и мой словарь ломая
Свой пересохиший рот моим огнем обжечь...*

Вера дала на время книжку стихов Тарковского — оказалось: навсегда. Ваня выпросил ее. Выклянчил — молчанием, выпуклыми — от слез внутренних — глазами, похолодевшими от ужаса красоты пальцами и напавшей вдруг на него сутулостью и полуопущенной головой, повинной и склоненной перед красотой — за всю грязь этой жизни, людей, страны, мира. Тарковский вместе с книгой остался у Ивана навсегда. Так бывает: увидишь синицу на оконном кресте зимой — это навсегда; услышишь плач листвы осенью в саду деревенском за пять минут до первого снегопада — это навсегда; поймашь далекую — высокую мелодию — только перышко музыки неслышанной кружит в голове, в груди, в крови — это навсегда...

Раннеосеннее солнце не слепило. В душе, в воображении Ивана, осень еще не наступила. Утром случились первые судороги заморозков. Не заморозков, а скорее, приморозков. Они сидели с Серёгой на завалинке, мягкой от гниения стародавних черных досок-плах (шестидесятка — 60 мм досочка была, а сейчас — исхудала от жизни своей открытой и неподвижной).

— «Кулькин» — это что за фамилия такая, Серёга, а?

— От деревни Кульки. Татарское слово...

Серёга влюбился тоже, но не в филологиню, а в рабфаковку-философичку, в девушку красивую, хрупкую, с большими глазами, такими большими и нараспашку, что им нечего было искать и высматривать — в них уже было все. То бишь глазам хватало глаз... Они курили и негромко переговаривались. Прямо перед ними, чуть левее, стояло сарайное чудовище многоочкового коллективного колхозного туалета, сортира, отхожего места на два входа — для «М» и «Ж». Ваня произнес свежее свое стихотворение, стишок, так сказать. Серёге нравилось все, что писал этот странный парень-мужик-юноша-старик: стихотворения были короткими, с многоточиями и многими частыми метафорами... В это время в туалете что-то зазвучало, забурлило, загазовало, забомбило. Парни переглянулись и чуть было не заржали, но Иван приложил палец к губам: мол, сохраняем тишину — посмотрим, кто там такой бомбометатель, задних дел гранитометчик и минобросатель... Шум и гул, взрывы и стоны в туалетном сарае продолжались. Парни ждали: вот-вот появятся противник, вооруженный до ушей... Вдруг все смолкло. Через десять секунд

(по часам: бой продолжался 11 минут 33 секунды — короткий, но жестокий с кинжальным огнем, с убитыми и ранеными) заскрипела дощатая серая дверь, хлопнула, отскочила и хлопнула еще раз, но уже тише. Все — конец звуковой атаки. Из-за серого строения полевой уборной показалась Серёгина любовь... Ваня вскочил и бросился в барак — отсмеиваться. Серёга взошел в общий колхозный барак медленно, осторожно, как после боя, с опущенными руками, лицом и глазами. Так умирает колхозная студенческая любовь. Хоп, бах-бах — и умерла...

Состояние духа и тела сегодня было странное, не угнетенное, но и не легкое, когда пух летит от уст Эола: Иван остался один — все уехали («дембель» колхозный) в Свердловск или по домам, в городки и села свои; Вера у автобуса даже всплакнула, глянула на Ваню — глазами всплеснула, как незримыми ладошками ангела, вошла в узкие двери транспортного средства, нашла место, села и смотрела вроде бы на Ивана, но и одновременно мимо, так смотрят и такой взгляд бывает у слепых и контуженных в бою ребят, находящихся то ли в боксерском состоянии грогги (нокдаун на ногах), то ли в состоянии предокосевания, — не поймешь, косою перед тобой человек или одноглазый (хорошо тому живется, у кого стеклянный глаз: он не плачет и не бьется, и сверкает, как алмаз). Иван шел, не касаясь земли, и дышал так, словно здесь не было воздуха. Он стал воздухом и землей...

Ваня зашел к Дяде Саше попрощаться. Тот принял его, провел в дом, но не в кухню-гостиночку, а в свою комнату, в которой стояла узкая солдатская койка (на панцирной основе и на железных ногах с колесиками), небольшой самодельный столик для письма и чтения, на котором лежала толстая, «общая», ученическая тетрадь, два выпуска журнала «Уральский следопыт» и книга Гоголя «Мертвые души», также — что сразу бросилось в Ванины глаза — по трем стенам стояло три книжных шкафа, огромных, старинных и застекленных, из породистого дерева, проморенного коричнево-моренной кислотой. Ваня молча ахнул: две тысячи книг! Книги стояли в два-три ряда, а еще и лежали на ковриках между столами — в стопках, — новые книги, еще не читанные. Дядя Саша в стоячем положении (а ведь он всегда сидел, когда Ваня приносил ему деньги с Татарином) оказался ростом с сидячую собаку. Но! — Ростом-то невеликим, но Пушкинским!.. Дядя Саша хлопнул Ваню по плечу. Налил водки. Они молча выпили. Дядя Саша начал разговор, оказавшийся коротким:

- Нарушу порядок, поступлю не по понятиям: сколько сидел?
- В чистую — полгода... ну, семь месяцев... в дисбате... в грязную — три года...
- Где пачкался?
- На войнушках.
- Морпех?
- Ага.
- Вьетнам видел?
- Да. Был.
- Напалм?
- Да... Это просто красный фосфор. Он и у нас есть...
- Ваня... Иван, ты ведь знаешь, кто ты?

— Знаю.

— Это правильно. Не вилай в сторону. По колхозам не шустри. Учись в университете. Закончи — и пиши в открытую. Как в очко. Знаешь?

— Да. Проигравший ползет из окопа за водой...

— Где?

— Да везде. И в Африке. И в Аравии. И в Индокитае.

— Понятно. Знаешь? —

*Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий
Я пил степную синь
И суп варил из мидий*

*И мне огнем беды
Дуду насквозь продуло
И потому лады
Поют как Мариула*

*И потому семья
У нас не без уroda
И хороша моя
Дунайская свобода*

*Где грел он в холода
Лепешку на ладони
Там южная звезда
Стоит на небосклоне...*

— Тарковский... Вьюгу на латынь переводил Овидий... Как смерть переводил на русский... как волю на мечту переводил...

— Да. Волю — на мечту. Сначала мечту — на волю. Мечту на снег и на рывок. Всю жизнь свою — на волю. Судьбу. Да. Судьбу.

— А-а-а... — Дядя Саша оборвал фразу Ивана: — Иди. Ты из всех нас самый свободный...

Ваня шел, не чуя ни земли, ни воздуха. Он шел по воле, по боли... Ты должен быть крупнее себя. Крупнее этой жизни...

*С утра я тебя дожидался с утра
Они догадались что ты не придешь
Ты помнишь какая погода была
Как в праздник и я выходил без пальто*

*Сегодня пришла и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день
И дождь и особенно поздний час
И капли бегут по холодным ветвям
Ни словом унять ни платком утереть*

Ни судьбой утереть... Иван ехал на автобусе домой... Быть крупнее судьбы.

І. ДУМАЮЩИЙ СТИХИ

Человек, думающий стихи, несчастен (или счастлив?) трижды: во-первых, он не умеет жить, как все — обыватели, граждане, политики и прочие господа-товарищи, — он не владеет приемами и правилами социального поведения, которое держится всегда на лжи, на игре, на коллективности, имеющей искусственное происхождение; поведение и образ жизни думающего стихи зависят от мучительных и счастливых, а иногда убийственных процессов появления текста; во-вторых, думающий стихи чувствует, ощущает и недопонимает жизнь, смерть и любовь по-своему, не так, как это происходит с другими, иными, нормальными: они воспринимают словесность — художественную, «изысканную» и поэтическую как некую необязательную для пропитания игру, как баловство; может быть, думание стихов — это и есть баловство: Бог тебя балует; ты — думающий стихи — мыслишь не так, видишь не так, слышишь не то, осязаешь, обоняешь и пробуешь на вкус все-все-все не так, как иные, коих большинство; ты осознаешь свою ущербность еще в раннем детстве (3–5 лет), ты побаиваешься этого твоего прекрасного уродства, но ты и гордишься им — тайно; тебе больновато, больно и невыносимо больно знать, что ты никогда не будешь любим (она нигде, никогда и ни при каких условиях не разберется и не осознает, кого она любит — человека или думателя стихов), что ты никогда не будешь иметь сто друзей, сто рублей и сто любовниц (Есенин поэтом не был: он был неграмотным в небесном отношении и абсолютно слепо-глухим стихописателем, который своей писаниной угодил огромной массе населения, которая, по словам Осипа Эмильевича, оставалась, остается и останется чудовищно невежественной в сфере поэзии: жратва, чины, деньги, тщеславие, амбиции и похоть не дает этой массе образовываться и хотя бы изредка заглядывать в бездну культуры); в-третьих, все слушают, а ты — слышишь, все смотрят, а ты — видишь, все «понимают», а ты — предощущаешь и прошлое, и настоящее, и будущее; все — говорят, а ты — поешь, — поешь музыкой, музыкой языка, музыкой разума, музыкой чувств, музыкой души; все спешат — а ты сидишь ночью на балконе, в деревне — на траве, тюрьме на шконке, на войне в окопе, в вертолете, на корабле, в плену, в бою, в университете с открытой книгой на коленях, даже в туалет, в ванную, в трамвай ты идешь с томиком стихов; в кафе, за праздничным столом, на похоронах — везде и в любой ситуации и всегда ты думаешь стихи: и свои, и своих братьев, живых и мертвых, думающих стихи вместе с тобой...

Хронотопические, временные и пространственные полосы озарений — умственных, душевных, воображительных, глубинно-высоких, низменных и грязных, прекрасных и болезненно красивых, — этаж за этажом, уровень за уровнем, сквозняк за сквозняком, то светом, то темнотой меняли тебя: ты, проходя сквозь озарения, становился другим — более безумным, более чужим окружающим тебя, более умным и нездешним.

Ты немтырь. От рождения. От жизни. От нежелания говорить с теми, кто не слышит. От презрения говорить на чужом тебе языке. От страха быть не осмеянным, а убитым презрением общества. У общества женское презрение. Общество и обижается на тебя, немтыря, по-женски, зло, мстительно, издевательски, грязно, мелко и тупо, как деревенский баран с огромными яйцами... Ты немтырь. Ты сейчас, в свои двадцать два, немтырь потому, что тебе нечего сказать обществу, государству, набитому тупыми алкашами, ворами, чиновниками — все равно не поймут: покрутят пальцами у виска и пойдут домой к телевизору — жрать и пердеть на балконе, кто громче... Суки. Сколько ребят погибло за вас, для вас, для вашего существования... Ты заика, многодум, полный рассеянец (таких, как Ваня вообще на этот свет лучше не пускать — пусть живет там, где был до рождения своего), — ты мальчик, маленький мальчик, который плачет по ночам, вспоминая казака-инженера и «еш конфеты в шкафу... мама Джеку адала деденьке на Красный...», поминая ребят и в Египте, и в Анголе, и Индокитае (особенно в Камбодже и во Вьетнаме; ты помнишь Ахмеда, вытащившего тебя из-под огня с простреленными ногами и беспамятного, как ихний белый тяжелый песок). Ты молчишь. Ты плачешь в себя и молчишь. Твое молчание — слышит. Оно слышит все. И земля отвечает ему: ты становишься землей, земля становится тобой, и вы не чувствуете друг друга. Вы молчите. Молчать — значит говорить. Ты пытался быть частью неба — осознанно: ты начинал ощущать его, чувствовать и иметь, как свою руку, голову, лицо и глаза. И ты стал частью неба — но превратился в полного и безнадежного немтыря...

Когда мы смотрим на пространство — любое — мы не видим ничего, кроме движения, предметов, цвета, ландшафта... Но если ты зряч по-настоящему, по-немтырски, если ты истинно зряч, — ты видишь, что воздух и все окрест состоит из узелков. Если один из них, как почка или крохотный бутон, соцветие, раскроется, — ты видишь не цветок и не соцветие и не ветвь лиственную, — ты видишь сквозь время нечто большее, — ты имеешь дело с вечностью, которая есть и в тебе, и в твоей руке, и в вечности есть ты — целиком и навсегда. Вечность везде. Время — нигде. Жизнь и смерть защищены любовью. Потому что возможность видеть, зрение — это любовь. Зрение — это любовь. Слух — это душа. Это дух. Истинное зрение и слух — это любовь. А мы... Мы живем, под собою не чуя земли, планеты, мира... Мы ничего не знаем о мире и не хотим знать. Мы знаем только войну. Мы живем для себя, для войны, для смерти. Смерть и война. Живем для себя, а не для Духа Общего...

Иван жил одновременно прошлым, настоящим и будущим: прошлое, нечто смутное и темное, забиралось и клубилось в настоящем и будущем; настоящего не было — оно было перенаполнено прошлым и будущим; будущее думалось, слышалось и виделось стихами. Семья становилась если не чужой, то почти незнакомой: мать (Катя!) постарела так, словно пережила с Иваном все, что происходило с ним в последние три года; Андрей учил-

ся в выпускном классе, умело используя память о старшем брате, которая еще жила в школе, изгонявшей из себя Ваню, «декабриста», заику, спортсмена, книгочея и местного авторитетного пацана; Петя часто болел — мать устраивала его на вылежку в свою четырнадцатую больничку; Петя совсем исхудал и стал похож на сталинского зэка, оттянувшего четвертак и получившего ДП плюс «минус 100». Иван виделся с Петром, часто навещая его в стационаре, но осенью перевез его в Шатры, где встречался с ним чаще, чем дома и в аптеке.

Отчуждение немтыря — дело обычное и двустороннее: люди тебя не сторонятся, но и побаиваются, не принимают, так сказать, в объятия; да и ты — внешне — со всеми свой, но — внутренне — чужой. Чужой себе, чужой другим и свой своим (всем) стихами. Думание стихов, писание, сочинительство, уныние, разочарования, радость (редкая), горе (постоянное), счастье (неизбывное, ровное и могучее: счастье — быть на этом свете) — все это зависимости. Жизнь тоже зависимость. Как алкоголь и наркота. Но зависимость жизнеродная, всесильная и огромная, как Петя на инвалидной коляске в узкой прихожей хрущёвки.

Ямбическая сила в кубических сантиметрах! — Люди тебя не видят — ты прозрачен. Человечки вообще не воспринимают никак нечто неизвестное, пугающее, бесконечное и безмерное. Поэт? Стихотворец, поэт, литератор, писатель, писатель всего на свете (убогая советская литература!). Ты говоришь, что Сотников и Рыбак Василя Быкова карикатурны. Но! С Сотниковыми мы сдали бы Москву и все на свете. Воевали и выбили немцев из России Рыбаки. И тебя опять не видят. Не понимают. Не хотят понимать... Тебя и полеты в космос не удивили и не привели в восторг: ты там, в тех местах, недоступных взору и слуху, уже давно обитаешь — время от времени, когда Пространство отодвинет Время или поглотит его — и позволит, разрешит быть частью себя... Ты думаешь стихи ежедневно. Твой разум давно полифункционален: он может работать одновременно в разные стороны. Ты записываешь стихи ежедневно (по 5–10 текстов). Это безумие. Ты уже перешагнул порог вдохновения, просветления и усталости навсегда. Такое обильное и частое записывание стихов — это некий внутренний, душевный, изнурительный спорт («спортивное стиходумание и стихосложение»). Но! — стихи постепенно преобразовывают, меняют тебя, и ты — вдруг! — начинаешь ощущать себя не стихотворцем, не поэтом, но поэзией. Самой поэзией. Ты не носишь звание поэта. Социальный чин социалистической литературы. Ты становишься представителем (или представителем, воплощением etc) поэзии. Предстатель Поэзии... Одним словом, ты или поэзия в человеческом воплощении, или социальная роль (общественная, публичная etc) «паета», «паете-песиника», «паета народного», то бишь паета масс рабоче-крестьянских и прочих. Паета монетарного, планетарного, как хватуристы и остальные выкаблучиватели стишков. Социальные роли литературы и литераторов устраняют чудо, божество и само вещество поэзии, гармонии, человечности и антропологичности в космическом объеме. Прагматика, монеты, денюжки, а еще и почет с орденами и звездами героев соцтруда, крепкий достаток и пролетарская, быдловская наглость всех этих ештушенкорожественскихвознесенских и прочих козловых. У них там, на Западе, Энди Уорхол, скотина бездарная, а у нас тут, на Востоке, советские классики советской литературы, советской поэзии... Была ли советская поэзия вообще? Была! —

советская, но поэзии не было. Окромя Мандельштама, Заболоцкого, Тарковского и тех, кто помельче и помоложе. Журналиста Достоевского вдруг разрешили и прочитали, и не заметили, что не-художник он, а криминальный репортер, беллетрист — ну, чистый француз!..

Социальная, общественная, государственная, коллективная ортодоксальность («устойчивость» власти) опирается всегда на голодность масс, на моду, на тренды, бренды, на тренди-бренди балалайка-растопузая хозяйка. Стадионы они собирали. Голод на стишки? Нет — голод на хоровые эмоции (как в опере или на футболе)... Бедные люди. Белые ночи. Братья Черномазовы. Филология рухнула без литературы. И вряд ли поднимается в двадцать первом веке — эпохе роботов, средств связи и пустой информации, то бишь неинформации, или информации пробелов, провалов, прорв и лакун. Останется кожа. Изнутри эта нарядная, социалистическая и капиталистическая культура иссохнет и — вся — преобразится в кинематограф, в шоу, в пляски голышом и проч...

Ты сидишь на лекциях с твердым лицом и тяжелыми глазами, тянущими тебя к столешнице парты университетской, измызанной, изрезанной и расписанной, как уголовники с семью ходками. Твоя светлая голова и черная борода, особенно большая раскольниковья борода пугают партком, тетенек, читающих политэкономия, диамат, истмат и основы научного коммунизма. Сокурсники, однако, жалеют тебя, чувствуя в тебе горемычного думателя стихов. Все знают, что ты — поэт. Но ты этого не знаешь. И знать не хочешь... Но ты знаешь другое: счастье есть — всюду. И его одновременно нет. Нет потому, что мы не умеем и не можем почувствовать его таким, какое оно есть. Ты понимаешь, что дело здесь не в удовольствиях и наслаждениях: счастье всегда горчит, и горечь счастья усиливает духовное наслаждение и страдание счастьем. Счастье, как ты думаешь, — это бытие, инобытие и интербытие (связь бытия и не-бытия) в синтезе, в единстве, в невероятно могучей силе этого союза, слияния трех состояний бытия... Идиллия? На высоте духовной, мыслительной, художественной, поэтической жизни нет ничего темного. Но и светлое причиняет тебе страдание: муку — не понимать, а только ощущать силу и красоту жизни. Жизни — не общественной, а естественной, человеческой, природной.

Молодость идеалистична, романтична и глуповата. Молодость думает, что любит, слушает и понимает музыку. Но это не так (чаще всего): просто музыка — ритмически, тонально, мелодически и кодой своей (чем проще — тем доступнее) — совпадает с бурлением процессов роста и развития организма. Наверное, трудно, не будучи меломаном и представителем поэзии, слушать до глубокой старости Led Zeppelin или Марчелло (Алесандро), тоскуя по тому, что еще (и уже никогда не будет) не исполнено давно умершими музыкантами.

К концу двадцатого века состоялся губительный для культуры и внутреннего мира человека союз маркетологов, политиков и финансистов. Наука и художественная словесность начали превращаться в бизнес (и в СССР тоже — к восьмидесятым годам: ВИА, группы, танцевалочки, подпевка и подтанцовка и проч.).

Иван сидел на лекции, или «на паре» (пара часов в любом занятии по 45 мин каждая с пятиминутным перерывчиком и пятнадцатиминутным — между парами). Тянулась лекция по истории КПСС. Ваня на спор с девчонками и Саней Сидельниковым, тоже рабфактовцем, обещал просидеть 45 минут под партой. Он уронил — негромко — на пол учебник,

весом в полтора килограмма, нагнулся за ним, затем сполз с сиденья, потом сел на пол, достал из кармана тоненькую книжку стихотворений Давида Самойлова и... вдруг почувствовал, что голоден, как ангельская гиена: терпеть не могу голодать! Ты неожиданно как бы придремал — и попал туда, куда никогда не хотел возвращаться. И вот вы сидите вшестером в окружении. «В алюминиевых трусах ломом подпоясатый», ты понимаешь, что дело — швах: фланговый отвлекающий — с горки — удар не удался, они напоролись на засадный ПКТ негроидов-голландцев-англичан-кубинцев-французов — хрен разберешь. Легли треугольником, за камешки огромные: треугольник капраза Арефьева работал — три точки огня, две со снайперами Матисом Луйком и Дзинтарсом Вашилишунцом (с Ванаймой и Васькой, «ванайма» по-эстонски «бабушка», «васька» по-русски «котяра», то бишь с бабушкой и ее котиком), третья с пулеметом (Сакен и Юрка), со снайперами прилегли Володя Сима-Симак и Ваня. Снайперы хреначили часто и результативно (боезапас, слава Богу, был приличный), Сакен Абылхапов с пулеметом (тоже ПКТ с четырьмя цинками — не зря тащили эти патронищи «антислон») был богом каракалпакским — бил короткими прямо по арбузам без зеленых полосок. Хотелось жить... Плеханов, Георгий Валентинович, старейший теоретик социал-демократии, сразу заметил молодого революционера, прямо в Лондоне и заметил (или в Швейцарии? — нужно уточнить), прямо-таки и подружился с почти юным Владимиром Ильичом... Матиса ранили. В левый бок. По касательной. Два-три ребра сломаны. Ваня натянул на снайпера (только не ори!) корсет из тонкого спецброника, затянул его — аж рукам стало больно. Матис молчал... Потом прошептал «С-с-сука» и «Я тебя сейччас в глаз пристукну разрывной...» «Империализм и эмпириокритицизм» великая книга. Георгий Валентинович, кстати, будущий меньшевик и в революционных делах белоручка, одобрил этот капитальный ленинский труд... Ваня по цепочке (шесть звеньев-то всего!) передал: «Делаем восьмерки». Треугольник, со строгими секторами обстрела, вытянули к двум вершинам его и перекрутили, изобразив восьмерку. Знак, так сказать, бесконечности. Бесконечности стрельбы и жизни здесь, сейчас, когда «здесь» удваивалась в две петли, и два сектора обстрела накладывались друг на друга, тогда как свободная двойка бойцов ушла. В обход и в тыл этой долбаной ораве, которая, видимо, пересралась или патроны у них по счету: тоже ведь кочевники. Сакен и Юра Дмитриев ударили вовремя: Володя приготовил гранатомет к стрельбе и ахнул первой осколочной... Ваня — по цепочке «Опять треугольник». Одна вершина его уже чистая: там Сакен, Юрка и ПКТ. Чернолицие рванули в ложок, в ямку... Однако Зиновьев и Каменев явно слиберальничали, и Ленин поставил их на место (возле параша, что ли?) — вывел из состава группы СД, исполнявшей роль ЦК... Совместили секторы огня (если смотреть с вертолета). Огонь — огонь — огонь. Все...

Из офицеров хорошо и основательно (до нуля противника) воевали только бывшие фронтовики, битые немцами и бившие немцев. Без них Р-Д-Ч да, собственно, и вся армия развалились бы к чеморовой, к черноморской матери. Все спецчасти, особенно разведка, диверсионные подразделения и группы чистильщиков верили только тем, кто грохнул Германию с Берлином. Без Арефьевых нам было бы тяжело. Тяжко — как без земли или как под землей...

Иван в конце концов уснул под партой. Выиграл пари (1 бут. водки), но проиграл зачет по истории КПСС... Ну, чта паделаишь — еш канфеты в шкафу.

Ты выходишь из аудитории последним, и преподаватель останавливает тебя, смотрит долго в глаза и спрашивает:

— Что с вами, Иван? Приболели? — профессор Ефимов, мужик добрый, он читает ихнюю историю КПСС как не свое, но мягко и негромко. Часто шутит. Он скоро умрет. Его убьет вранье. Ложь. Неправда, которая стала многоэтажной — крыши не видно, а в подвал не пробраться — охраняют молчи-молчи.

— Да, Михаил Ефимович, как-то подустал...

— Работаете?

— Да. Думаю.

— Думаете?!

— Именно так, Михаил Ефимович: ду-ма-ю.

— О чем же, позвольте полюбопытствовать.

— Не о чем, Михаил Ефимович, а *что*.

— О, тогда понятно... Вы, Ваня, на зачет приходите. Все будет хорошо...

Иван вышел в коридор философского факультета. Его дожидался Саша с вопросом:

— Пива?

— Отнюдь.

— Винца, бормотушки?

— Отнюдь.

— Водки?

— Весьма!.. — И они поспешили в ЦГ (в центральный гастроном), который располагался как раз через дорогу, упирався в здание Оперного театра и почти касаясь «Спортоваров», универа и Яшки-памятника Свердлову, который вечно отвечал на вопрос С.М. Кирова: проспект Ленина был длинен, но вполне обозрим, здание УПИ завершало эту авенью памятником Кирову, который, огромный и чужой, протянул руку к Яшке, спрашивая: — Яков Михалыч, спросите у Владимира Ильича (памятник, стоявший в конце проспекта, а Яшка торчал как раз посередке), есть ли водка на Томачёва («монополька», еще с царских времен, торговавшая водярой), Яшка тоже вытягивал, тянул свою короткую еврейскую длань к Ленину и вопрошал: — Владимир Ильич, а не подскажите ли, любезный, есть ли водочка на Толмачёва? — Ленин стоял лицом к югу, то бишь бортом к проспекту, одну руку он вытянул вперед, в сторону улицы Вайнера, а другую согнул в локте, другой, левой рукой, он держал кепку мраморную, огромную, страшную и загаженную голубями; Ленин оттопыривая большой палец левой ладони с кепкой, отвечал: — На Толмачёва нет — пройдите на Вайнера, — четко указывая короткой, но толстой ручкой (правой) на Вайнеровский гастроном.

Уже в ЦГ ты вдруг замер, опешил, окаменел: а где же это было? *Это* было? Лаос? — нет, негры. Негры — может быть, америкосы? Нет. Они бы сдриснули. Труссы. Жирные и лоснящиеся воины. Камбоджа? — Нет. Ангола? — Нет. Вьетнам? Вьетнам? Вьетнам?..

— Вань, гони монету!..

Пили на любимом месте, на взгорке, или на валу, который поддерживал зоопарк, чтоб не побежал со всем зверьем в город. Выпили одну — вошли на территорию зоопарка по билетам, — и направились к Волку. К его вольеру. К Лобану. К Богу Волков. Это был огромный зверь, не сдряхлевший и не запаршивевший в неволе. Он уже знал и Шуру, и Ваню: вышел из каменной норы и лег на травку — смотреть, как ребята, его в общем-то друганы, будут пить вторую водку (а была еще и третья). Ваня осмотрелся и перебросил через сетку увесистый кус ветчинной колбасы — останкинской, которую знакомая продавщица, симпатизировавшая Ване, всегда передавала Ване почти тайком, в упаковке серобумажной, а то и коричневой, что ли? — не разобрать...

Волк-Лобан был знатный и славный, могучий и очень мягко настороженный. Но этих парней он уже знал, поэтому колбасу развернул, распечатал и быстро, но изящно, без чавканья и рыка съел. Он сидел в своем загончике один. «Что он делает? Чем занимается в этой одиночке? — думал Иван, — Что он читает, наконец? — Он читает свою память, свою свободу, свою юность и молодость. Он читает свое оголенное бедой и неволей сознание. Как, собственно говоря, и Ваня, этот молодой мужик, с виду веселый, а в сущности своей — убитый, гибнущий в этом сером и вечно грязном городе. Когда тебе совсем плохо и ты умираешь (мысленно и наяву), но не спишь, не даешь себе уснуть — боишься проспять свою смерть, — в тебе работают сразу два маятника, тяжелых, ядроподобных, повисших на нервах твоих, жилах и артериях: один раскачивает тебя из стороны в сторону, по всем сторонам и по кругу; другой бросает тебя снизу вверх и сверху вниз; все это происходит непрерывно, поочередно. Движения маятников выписывают объемный воздушный крест. Донесешь его до утра — выживешь. Донесешь его до границы переплетающихся амплитуд маятников — выживешь. Контузия (две), тяжелое ранение (проникающее) ног, десятки средней тяжести и легких ранений (от ножа уралмашевского до осколков мины), а позднее сердечные приступы — все это ускоряет движение, раскачивание и кружение маятников.

Ты сидишь с Сашей у волка, как у костра. Ты в гостях у волка. Ты в гостях у костра. Ты большую часть жизни просидел у костра — рыбацкого, бродяжного, тюремного и фронтового. Ты крутишь в башке дурацкие межеумные междометия «ништяк», «чирик-ху.к», «простяк», «голяк», «пиястяк» (от «пустоты», от «пустого»), от неналичия денег, книг, любви, дружбы, идиотских хоровых эмоций и проч. В тебе обнялись, крепче двух друзей, родовые призраки дворян, крестьян, казаков и арестантов, расстрелянных сразу же после революции семнадцатого года. Они валяют тебя — внутреннего — как ваньку-встаньку, как коробок спичек, как гранату Ф-1, как яблоко, которого нет...

Они бросают хлебные крошки голубям. Голубям не подневольным, но добровольным узникам. Какого хрена они живут в зоопарке? Свобода — окрест. Голубь — птица большая и непростая: есть в ней что-то, как во врановых, что-то роковое, гибельное. Сизари-и-и-и...

*Семь голубей семь дней недели
Склевали корм и улетели
На смену этим голубям
Другие прилетают к нам*

*Живем считаем по семерке
В последней стае только пять
И наши старые задворки
На небо жалко променять
Тут наши сизари воркуют
По кругу ходят и жалкуют
Асфальт крупитчатый клюют
И на поминках дождик пьют.*

— Водку пьют... Почему Тарковский? А не Есенин? «Москва кабацкая», а?

— Потому, что голуби на моих поминках пьют не водку, а дождевую водичку. Прямо с неба: оно — в луже.

Уходили от волка молча. С твердыми лицами. И водочное жжение в груди смешалось с холодом предчувствия чего-то большого и нехорошего, что надвигалось сразу с двух сторон — вертикальных: снизу, из земли, оглохшей и ослепшей под асфальтом, и сверху, с неба, становившегося иным, уже почти осенним, затвердевшим и с остановившемся взглядом кого-то или чего-то — сюда в этот тесный воздух городской, в город, который пустел, как бутылка из-под молока, когда жидкость молочная иссякла, а стекло бутылочное все удерживает и удерживает пленку пустоты. Надвигалась — отовсюду — осенняя пустота, пока еще густая, но уже остывшая, как кончики затекших пальцев...

— Борьба с умом?

— Нет, Саша, борьба сумо. Японская: одно толстое выталкивает другое из круга толстых в простор худых.

— Мы — худые?

— Мы — иные. Немтыри. Жрем водку. Плачем волка. Волк тоже оплакивает нас. Мы наплакиваем то, что будем скоро оплакивать.

— Время?

— Ну да. Советское время. 1977. Скоро все произойдет.

— Революция?

— Нет. Хуже.

— Бунт?

— Еще хуже. — Бардак. Наш русский бардак, в котором всем придет пиндец.

— Полный?

— Нет, полнее полного: обыватель возьмется за себя — будет обывать этот мир. Тотальное воровство и вранье станут реальной войной. Тихогражданской войной. Разорят и распродадут заводы. Все малые поселки и городки «рабочего типа» погибнут. На улицах будут лежать замерзшие и захлебнувшиеся сивушной рвотой. Людей будут выбрасывать из хрущёвок, их вывезут из леса — Шувакишские, Пышминские, Берёзовские, Полевские, Сысертские — и закопают живьем...

— Вань!.. Успокойся, а? Не пророчь хелню.

— Саш, она, хе.ня, уже здесь. Обкомовцы продали весь скот — перевыполнили план. Кириленко уже в Москве. Скоро на его обкомовский унитаз сядет огромный тупой дядька-алкоголик. Он будет или строитель (шишка), или промышленник (тоже шишак), в общем инженеришка, прорабушко-недоучка. И нам всем придет пиндудец.

— Все, Вань, хорош. Завязывай. Давай лучше своего Тарковского бормотни.

Иван, читая стихи, не заикался. Голос его шел, появлялся откуда-то сначала из груди (грудной голос, как у Кати), а потом из земли и — глубже — из пустоты, густой и осенней, белой, черной и пахнущей гниющим яблоком...

*Я тень из тех теней которые однажды
Испив земной воды не утолили жажды
И возвращаются на свой кремнистый путь
Смущая сны живых живой воды глотнуть*

*Как первая ладья из чрева океана
Как жертвенный кувшин выходит из кургана
Так я по лестнице взойду на ту ступень
Где будет ждать меня твоя живая тень*

*А если это ложь а если это сказка
И если это не лицо а гипсовая маска
Глядит из-под земли на каждого из нас
Камнями жесткими своих бесслезных глаз?*

— Саш, я не верю в реинкарнацию, в переводскрешение, в самовоскрешение, в переселение душ, но я знаю, что есть единство, некий общий закон существования душ в союзе, в сообществе, в организации, который пополняет вещество мироздания и питается им, стоит из него — без повторений и типологичности, типичности. Мироздание, Вселенная — это изменяющийся сам по себе и изменяемый нами хронотоп, состоящий из вещества пра-жизни, прадуха, прамышления и прачувствования. Это — пантеизм? Восточные практики философии и психологии? Не знаю. Скорее, нет.

— Но ты думаешь свои стихи и молчишь. Чтó ты думаешь, кроме стихов?

— А хрен его знает. Подзорная труба любой высокой мысли рано или поздно превращается просто в трубу. Чаще в *позорную трубу*, потому что мы — трусы, и мы редко идем до конца. Мы зверушки, теплые, милые и безобразные. Мы ссым вечности и, с другой стороны, смерти как полного исчезновения. И поэтому духовно и мыслительно мы непоследовательны, непредсказуемы. Именно этот изъян любит искусство и литература, называя это жизнью. А это — не жизнь, это — предательство жизни...

— А поэзия, что — тоже врет?!

— Не всегда. Ну вот, опять Тарковский.

*Мне опостылели слова слова слова
Я больше не могу перевозносить права
На речь разумную когда всю ночь о крышу
В отрешках как вдова колотится листва
Оказывается я просто плохо слышу
И неразборчива ночная речь вдовства
Меж нами есть родство меж нами нет родства
И если я твержу деревьям сумасшедшим
Что у меня в росе по локоть рукава
То кроме стоны им уже ответить нечем...*

— Слова — права — вдова — листва — родства — рукава... — Это же он не из земли выходит, а в землю заглядывает?

— Мы все оглядываемся на небо и заглядываем в землю...

Третью водку они пить не стали. Закопали, уже в потемках, бутылку в клумбу цветочную под Яшкой.

— Не выпьет, сука, революционер?

— Не, Саш, обоссется. Другие времена. Скоро предъява ему будет за Романовых. Большой придет к власти на Урале и взорвет храмы в том краю, где он родился, а потом прихватит Москву с Россией, натворит дел и поборется с самим собой за восстановление памяти уничтоженной большевиками императорской семьи.

— Ага: Колчак спешил-спешил в Екатеринбург — спасти Романовых, но опоздал. Выпил чекушку, сел на камешек перед синотеатром «Колизей» — и заплакал.

— Пришли товарищи, выпнули Колчака и назвали «Колизой», «Октябрем», а Екатеринбург — Свердловском.

— Аминь!..

Умер Петя. От чего — непонятно. Ревматизм. ДЦП. Амнезия... Умер он, как думал Ваня, от тоски. От той же самой тоски, которой он замирал сам... Он плакал и пил водку недолго. После похорон Пети Уралмаш опустел.

Вещество жизни не вытеснило вещество смерти: Петя стоял перед глазами, за глазами, внутри глаз — постоянно, во сне, наяву, в думах, в разговорах — пустых, в лекциях — не менее пустых; наука, литературоведение социализировались, идеологизировались насквозь — из литературоведения дух науки — вон, и, казалось, навсегда. Петя, высокий парень двадцати пяти лет с пролетарским, с негородским и сельским одновременно — с деревенским лицом, вытянутым, почти красивым, бледными и благородным от страданий: вечно скрюченные ДЦП и ревматизмом ноги доставляли только мучения. Но руки — руки! — у Пети были красивы, нет, прекрасны, узкие ладони, длинные прямые, ловкие и нервные пальцы (Петя в отрочестве был щипачем на толкучках; вся его семья жила

воровством, грабежами и редко собиралась вся в доме — из восьми человек трое-четверо всегда парились на киче, в зоне, в лагерях... Ваня плакал от любви и ненависти к *этой* и *такой* жизни. За что?! За что Петя, мальчик, парень, молодой человек с лицом Андрея Болконского, страдал? Страдал — и жил так, словно никаких мучений не было: *так бог* решил, судьба двинула, житуха дернула. В мире функционеров от КПСС (у всех — рожи Чичикова, будто это десятиллионные близнецы). Природно честный — до последней морщинки на лбу, Петя прожил жизнь свою — всю — ненаспранно: он выправил душу Ивана, покомканную войной, расправил ее — и она обняла, огромная и теплая, этот мир, душный, заводской, толпяной, хоровой, полувоенный (даже дети все еще — через 30 лет — добивали фашистов-немцев в своих играх). Вещество жизни разделилось на три мощных потока и вошло со смертью Пети в Ивана, в плоть и в дух его, — в город, в работу, в университет, — и в небо, выше, выше, выше — туда, где темнота и свет суть одно целое. Целое, неделимое и вечное...

Иван жил в себе. В своем Потеренбурге. Но в городе этом он был самым маленьким и младшим: главными были музыка, язык, поэзия и гармония. И — дрожь от ощущения ужаса красоты. Красоты звука, смысла, дерева, неба, женщины, земли, снега, звезд, ночных и земных, — красоты звука мысли. Звука образа. Звука, порождаемого ритмом и пустотой пауз, провалами метафор, безднами метафор, прорвами прямоговорения... Стихи думались и начинали думать Ивана.

После смерти Пети Иван одновременно и провалился в прорву уныния, боли, муки и возлетел сквозь стихии в невероятную высоту стихий иных. Земля, вода, воздух, огонь силой беды, любви, интуиции и музыки (пусть траурной) вытолкнули Ваню туда, где обитали три главные, генеральные и вечные *стихии света, тьмы и пустоты*. Эти стихии — очевидно первичные, всеильные и всепорождающие. Особенно *пустота*. Пустота способна сотворить все. Даже — Бога...

Кто придумал эту ночь? Был день целый день. А? Выход из боя, а тем более из окружения — самое сложное и гиблое дело. Ваняюркаволодя, Ванайма-Эстонский Медведь, Янтарный Волк (Дзинтарс), Сакен — волком, лисой, сурикатом... А ты — соплей: если надо — в себя втянешься. В нос. Через нос — в Пустоту. Исчезнешь. А то и выпрыгнешь из себя на три метра вперед с высокой траекторией, как мина, как Сакен Абылхапов, как волклизасурикат... Вышли. Ушли. Из саванны, из аудитории, из дома — во двор: нынче поминки. По Пете. Решили во дворе. На доминошно-картежно-шашечно-шахматных столах, сколоченных из старых досок, но лиственничных — вечных, черных, как тушь, гладких, как жопа бегемота. Столов пять. Пять на шесть — тридцать. Будет 40–50. Водки купили. Три ящика. Огурцов соленых от деда привезли десять банок. Помидоров соленых, прыскающих при надкусывании прямо в душу. Десять курей нажарили с соседями... Конфет до хрена. Варенья банок десять литровых (особенно малинового, терпкого, крепкого, как сладкий спирт). Арефьев-то застрелился. Разрядил ТТ в молчи-молчи. Капитан первого ранга. Дядька твой сродный. Племянник дедов. Орловых-Черминских стало меньше... Герой Великой Отечественной... Достали свежих огурцов на Уралниисхозе. Дядя Саша, честный вор и книгочей, прислал пять ящиков: Петя-то — сын его подельника, сока-

мерника, лагерника, сопланетника... Старая большевичка, училка, что ли, любительница Цветаевой, — умерла. А как звать — запаматовал... Ничего — вспомнишь...

А участкового Михалыча убили. Ножиком-режиком. Сейчас новый, но тоже хороший мужик... А Михалыча помянем и Цветаеву М. И. с большевичкой тоже... Поминки не праздник. Поминки — это молчаливое, сидячее гулянье, которое переходит в общее песнопенье и даже в пляски половцев Уралмашевских... Так, еще только четыре утра... Куда ведет тебя свободный ум?..

Главное — не расслабляться. Нынче поминки по брату. Брату по Уралмашу, по Болоту, по Восстания улице. Брату по нищете, по голоду и полухолоду. По оборванчеству. До армии — весь в рамках. И все — в рамках. А Петя — в лохмотьях. Сука смерть забирает лучших. Петю-калеку. Петю-фонарика: светился он в натуре... В натуре Юрик... Дмитриев. Петю Махача (Махач — Кала) — миной. Прямое попадание. Ботинок не осталось (или мы в кедах были?). Пять командировок. Пять полетов с этой планеты, из родной страны — в войну. Будьте вы прокляты, политики хреновы. Все. Все, сука, до одного, сука, до последнего, до самого милого. Падлы, просто падлы — в натуре... В каждой командировке было, повторялось, как дежавю, одно и то же задание: выйти на америкосов. Их разведгруппы (спецы! Оххх...) шастали всегда рядом, но не ближе десяти километров. Мы же входили в контакт с легионерами французскими (там было много русских и славян), с группами Массад (тоже наш народ, как пел Высоцкий: на четверть наш народ); массади-ковцы были ребята неплохие, уважуха была обоюдная. Плохо было с местными спецнами — всегда: они хе.ачились до корчей, но всегда убегали, когда видели наши знаки. Группа Ивана часто (за полтора года — дюжину раз) выходила на следы, стоянки, схороны, лежки америкосов. Обходили это дело с флангов, нащупывали ихние пути отхода — и отставляли там почту. Русскую МП почту: кострище, пустые банки из-под тушенки, сгущенки, каши, какао, а также пустые, рванные и мятые пачки из-под сигарет «Прима», «Охотничьи», «Северные», «Памир» и др., а еще из-под папирос «Беломор», «Волна», «Прибой», «Север», реже — «Казбек» и «Герцеговина Флор». Оставляли и кучки дерьма — для проформы и ужаса. Они это безобразие находили — и бежали. Сразу. Russians!!! Korea! Vietnam! Laos! Kampuchia! О-о-о, fuck! Mother fucker!.. С ними не было ни одного контакта: морозная война. И все холодало, холодало, холодало — до жара, до зноя... Трижды брали языков. Всего — пятерых. Они — плакали! Они помнили Сталинград, Курск, Берлин... А мы помнили Хиросиму и Нагасаки... Такие дела. (Потом этих жоржиков отпускали)...

Америкосов было жалко. Но Иван никогда об этом ни с кем не говорил (Пятьдесят Восьмую статью никто не отменял и никогда не отменит — просто перецифруют, — хрен узнаешь). Ты жалел людей. Все мы люди — а гадим друг другу в карман!.. Страшен был исход добрых америкосов из Вьетнама (1973–1975). Их гнали по речкам к морю, где работала артиллерия Хо-Ши-Мина («Хошимин, Хошимин, милый крейзи Love machine»). Или: Хошимин, хошь мин, самолетов и доспехов и двенадцать штук морпехов?! У тебя в группе часто 12 бойцов. Оптимальное количество охотников...

Петю поминали во дворе. Стояли люди на балконах со стаканами гранеными в кулаках. Одного дядю Васю закрыла в квартирке жена (а этаж — четвертый!): водочку ему отпра-

вили на бечевке. И закусь. И ДП. Потом он, поднабравшись, сломал замок. Вышел. Ремонтнул замочек — и рванул вниз по лестнице во двор... Запели к вечеру. Сначала «Лучину». Потом «Ой, мороз...» — но тихо, вполголоса, почти в себя. Петь в себя — это русское изобретение: не шуметь, но страдать, а вот потом уже шуметь... Закончили к полуночи. Разнесли по домам посуду. Посидели за пустыми столами — уже не все, человек десять — и разошлись по домам.

Иван любовался поминками, а ночью вдруг возрадовался: ни одной драки, ни одного шума, ни одного базара, ни одной ругани. Даже откинувшиеся уголовнички понимали, кого они хоронят. А кого? *Кого?* — Так ведь ангела. Ангела по имени Петя.

Ты помнил вспышку, грязно-красную, с клубами пыли, с хвостами бамбуковых листов и отростков, с изрезанным бушем небом. Смотреть больно. Ты оглох — значит, слышать не больно: мир замолчал... Тебя тащили по земле сначала за руки — ползучее распятие, распятие волоком; потом тащили за ноги — люди в хаки японского покроя. Лаосцы? Да. Они все одинаковые: и партизаны, и повстанцы, и представители армии правительства, и полпотовцы, и проамериканцы, и охотники за головами... Ты греб раскинутыми руками чужую землю... Махача... наповал... в клочья... а ты кувыркнулся с горки-сопки — вниз — к общей для всех тропе. Это где-то рядом, километр-два до их базы... Плен?! Ну да... уйду... один хрен, уйду... Оклемаюсь. Положу всех. Кто бы ни были они... В изрезанном деревянном небе попадались колодцы. Небесные колодцы, наполненные со стороны бога болью, дымом, дымом, дымом...

*Как дымный столп светлеет в вышине
Как тень внизу скользит неуловима
Вот наша жизнь промолвила ты мне
Не светлый дым блестящий при луне
А эта тень бегущая от дыма...*

У Вани с Сашей был уговор (по женскому полу, так сказать): сказал первый «*моя*» — и опоздавший не мешает тебе делать ее твоей. Молодость светла: в зрелости и старости этот свет (в отличие от *того*) становится ярче, и от такого ослепительного света в мире становится почти пусто. Саша и Ваня сидели за партой перед первой лекцией (самой первой!) в универе (!) на филфаке (!) (им, хлебнувшим житухи, это все казалось нереальным, почти сказочным, особенно — свет, исходящий от ламп, от окон, а главное — от женщин, девушек, студенток: свет был женщиной, и женщина была светом...). Двери в 339-ю аудиторию были открыты (левая половинка). Было еще рано: 8.40 утра, и Сашка с Ванькой были одни, но сидели они за единственной партой в ряду, приткнутой к стене как раз рядом с открытой половинкой двустворчатых дверей. Ни-ко-го!.. Рановато приехали... И вдруг — в аудиторию вошла, прошла мимо Саши и Вани высокая девушка с фигурой молодой женщины в цвету, с длинными распущенными светло-русо-золотистыми волосами — густыми, пушистыми и легко-тяжелыми с виду. Она оглянулась на парней, но как-то так неточно,

неприцельно, показав близорукие чухонские глаза, подведенные чуть-чуть. Но губы... но лицо... носик... все было прекрасно. Не красиво, не сексапильно, но прекрасно, изумительно, волшебное. Парни охренели. Саша раскрыл рот от удивления и ужаса красоты, но Ваня вдруг впервые в жизни — успел: негромко, но отчетливо произнес: «Моя!»

(Когда ты написал «Моя!», ты вдруг заплакал. Встал. Вычистил пепельницу. Заварил новый (пятый!) кофе и поставил на вертушку диск «Spase», потом, после первых проникновенно-бодрых звуков, отключил дисковод и переключил центр на USB — зазвучала мелодия из фильма «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна, с Олегом Янковским и его трудным возмужанием. Сердце твое выравнилось, застучало уже не в голову — а в душу, как тогда в 1975 году в Лаосе: прорвемся!..).

Саша хлопнул Ваню по плечу: ты всегда пострел-всюду-успел, а вроде сидишь себе пень-пнем, стишки свои думаешь, мать твою за ногу... Ваня почувствовал в себе и окрест полную перемену воздуха, времени и городской пустоты. Восхищение, нежность, страх, темноватые предчувствия, радость, почти счастье омыли его изнутри, как хорошие стихи, как «Демон» Лермонтова, как Тютчев, как «Пора, мой друг, пора...», как «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь...», как весь Пушкин, как Шекспир, как Дантов «Ад», как Чеховская «Степь», как Бунин, как рассказы Юры Казакова («Юра» — так его звали новые друзья Вани)...

Девушка выбрала место в аудитории поближе к трибунке лектора и доске (она была, точно, близорука, что делало ее еще милее)... Первая лекция «Фонетика современного русского языка» (сокращенно: фонетика СРЯ, — трудная деепричастная форма некоего глагола, да?) читалась профессором Глазыриной Верой Васильевной, с которой Ваня скоро подружится. Вообще, парней на филфаке было хрен да маленько. Армейцев было три: еще, кроме Саши и Вани, Елисей — рыжеватый, с нежным лицом, чуточку испитым и жирной портячкой на запястье (вдоль руки) «BEATLES», поэтому парни (все) были заметны, их постоянно использовали люди из деканата в похоронах, в хозработах, в хождении за три улицы в составе Добровольной Народной Дружины (ДНД), в работах любых, в том числе и в помощи преподавателям при их переездах с квартиры на квартиру, в ремонте (постоянном) мебели, дверей, замков (и замков-«молний» на женских сапогах), и в организации демонстраций на 1 мая и 7 ноября...

Ты — это череда, шеренга, колонна, состоящие из тебя самого, но разного, ожидаемого и неожиданного. Ты смотришь на себя фронтально или сбоку — в щеку и в висок, или упираешься сам себе в затылок, многократно и по очереди — ты почти не отличаешься от похожего на тебя и от чужака. Тебя много: умный, идиот, урод и красавец, но высокий, но лысый, не плешивый, а лысый, бреющий башку наголо... Тебя выводят из ихнего партизанско-лаосского зиндана наружу, под небо. Ставят у бетонной, плохо отлитой стены (суки, кто делал? — убил бы!)... Ну да, сейчас будут долго расстреливать — дней 5–10 до тех пор, пока не расколешься. Тебя учили в РШ тому, как они это делают: серьезно, деловито, но фальшиво. Ты видишь магазины к АК-47 — они пустые. Рожок полный — тянет и оружие, и руку, и ремень, и карман, и подсумок, а пустой — летает в воздухе, как железная бабочка — огромная и запаянная в длинную коробочку... Тебя ставят сначала лицом к строю вооруженных карликов, лицом к ихнему желтоватому свету. Потом пово-

рачивают мордой к стене. Потом команда. Потом — отмена. Тебя уводят в полуподвал, в бетонную камеру без шконки, без корешей — бродяг и преступников, мать их за ногу... Тебя выводят, выводят, выводят, ставят мордой к ихнему мутному солнцу — маленькому, как зрачок маламута. И — стреляют. По-настоящему. Пули херачат выше на 15–20 см, башка в бетонной пересохшей муке... Ты стоишь перед третьим залпом из пяти АК-47 и вспоминаешь стихи узкоглазого Исикава Такубоку, который бы — точно — составил тебе здесь компанию... Двойное презрение убило бы как раз Такубоку и Ивана: эти древние кхмеры такое не простят более молодым этническим единицам... Залп... Мука... Мозг от жары спекается в пирог...

*Помню
Рассказывал нам
Как жизнь свою безвозвратно
Загубил человек
Он был слишком талантлив...*

По ночам Иван устраивал мозговые читки. Иногда они были душевными, иногда сердечными. Но уста его оставались замкнутыми... Боже мой, скальд в 9 веке писал:

*Драпа об Олаве шведском
Вал завыл сломал
Весь навес древес
Нес в злосчастный час
Челн нещадно мча...*

Ну чем не Хлебников?! Это дописьменная поэзия, но — Поэзия! Текст — насквозь про-рифмован — фонемами, морфемами, слогами, но не лексемами! Это же анаграмма. Древнеегипетская почти. Но — во льдах, в снегах и под Северным сиянием. Это же Анаграммы Северного флота Русского Заполярья, Русского Севера!.. Боже мой, я умру — и эти мысли тоже. Их тоже расстреляют.

*Пьяной пены полны
Пью из зуба зубра...*

Или: Ёкуль Сын Барда

*Отдельная Виса
Жаркая жжжет язва
Жил и не тужил я
Быстрой бьет струею
Брызжет рана красной
Хлещет ввысь кровища*

*Вытерпит муж муку
Князь честной отмщает
Мне великим гневом...*

Вытерпишь уж муку, муж и отомститель — не великим гневом, а любовью страшной и огромной: в ней утонет небо...

Начались мучительно сладкие и горькие дни переглядок с Нимфой. Так они с Сашей нарекли филологиню-красотку. Виделись шесть раз в неделю, учились в одной группе 101 (лингвисты), в 102 и 103 обитали будущие литературоведы и учителя. Сто первая делилась на две части: общеязыкознанцы и русисты. Иван-русист. Юлия Логотипова, нимфа, была историком лингвистических учений, изучателем диахронических и сопоставительных исследований, практиком топонимастики, диалектологии, номинации и ономазиологии в целом. Она знала три-четыре языка (европейских, основных) и изучала — самостоятельно и произвольно — еще пять-шесть языков. Юля любила зарубежную прозу (журнал «Иностранная литература»). Ваня любил синхронию с долей диахронизма, фонетику (и сравнительную в том числе) лексикологию и фоносемантику. Он читал круглые сутки стихи: русские, западно-европейские, юго-восточно-азиатские: золотой век, серебряный (то, что было доступно), современную поэзию (от Дзэика Самойлова до Чухонцева Олега, проклятых французов, испанцев, итальянцев (в переводах), Роберта Фроста, Эмили Дикинсон и Джона Донна (в переводах и в оригинале — начал учить английский — сам, литературно, текстологически и культурологически).

* * *

Четыре плохая цифра. Ваня не любил 4, 13, 22, 44 и все, что содержит эти повторяющиеся цифры, становящиеся числами. Четыре недели в лаосской крытке. Завтра пойдет пятая. $28+2=30$. На тридцатый день... В тридцатый день уйду, а не уйду — убьют, но именно на тридцатый день. Почему? А потому что 30, или 3:0 в мою пользу, или 30 очков в баскет за игру (что часто бывало в юношеском «Уралмаше»). В 30 лет у тебя, может быть, выйдет книга твоих стихов. Или опубликуют, например, в «Новом мире»... На тридцатый день он умылся питьевой вонючей водой. Отжался 30 раз. Приседания — по 30 раз на каждой ноге. Левая была хороша. Правая побаливала от осколков, которые не вынешь пальцем из поверхностного ранения. Загноилось... Ништяк. Прорвемся. Ничего, косые, покоцаю вас ручками — и уйду. Такова воля небес, земли и Ее. Она приходила нынче ночью. Гладила по плечу — силы давала. Сказала, что, точно, уйдешь... Дядь! Я... дядь! в плену... Хр вам. Хрен вам... буй вам, суки косые...

*Есть некий час в ночи всемирного молчанья
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес...*

Да, Фёдор Иванович, уйдем мы с тобой... Бедная Катя... Дедушка... бабушка... Коля... Андрюха... И все-все-все... Обещаю — уйду... Они сидели рядом на грязном, в помоях и испражнениях, бетонном полу. Она держала тебя за руку. А ты — не плакал. Молчал. И сказал Ей как обещал: уйду. Пойду на рывок. Вырвусь. Постараюсь не убивать. Рвану. Выйду наружу. Тишину не нарушу. Выстрелы из подвала никого не удивят. Ствол отниму — и положу всех в госпиталь...

Долгие годы ты будешь мучиться, переживать: убил этих троих допросителей или ранил. Стрелял по бедрам. Но стрелял, как учили в РШ на мишенях с америкосами под два метра. А эти — клопы, карлики, лилипуты. Где у америкоса бедро — там у кхмера живот... Такие дела.

Помогал всегда Алессандро Марчелло со своим невероятно сокровенным гобоем (в транскрипции Баха: Иван Севастьяныч вообще вытащил из вселенской тишины все итальянское барокко. И — Вивальди тоже. Такое вот приключается чудо...).

* * *

Не смотреть в глаза собаке — особенно мне: заплачешь. Юля была чудом. То ли реальным, то ли сотворенным Ив́ановой душой. Может быть, над созданием его поработали и Бог, и Гармония, и Абсолют, и Гравитация, и Воображение, и душа?.. Что было чудом? Кто был чудом? Юля? Ты? То, что зовут любовью? Капсула воздушная, наполнившаяся вдруг иным светом, цветом, иным звуком, иным сладкородом — переродившимся кислородом, водородом, азотом и прочей жизнью? — Мир поменял свои размеры и цвет. Он стал сжатым, малым, в него помещались двое, и он стонал от тесноты, учившей тебя задыхаться, а потом дышать; мир стал черно-белым без Юли, мир, сужаясь для двоих, вдруг становился тысячецветным, в этой палитре доминировали золотистый, телесный, белый, синий, зеленый, голубой и серебристо-сери́-яркий — до зажмуривания, до смыкания век. Иван понимал, что это не любовь — пресловутая, привычная, бытовая, «земная» и т. д. Это было не чувство, это была не эмоция, а состояние и ситуация, которые имели свой топос и свой хронос. Место любви — не везде, а только рядом, окрест любви, — сунь сюда руку — обожжет. Время любви двигалось по вертикали. Черно-белое и тысячецветное чередовались, и в интервалах, в зазорах мерцали невиданные изумрудно-коралловые, багровые и сине-небесные мерцания, вспышки, взрывы. Это было невыносимо. Но ты шел вперед — в это мерцание, входил в него и умирал, сразу же, моментально воскресая... Ты хотел умереть: теперь все изведано — и мучительное счастье, и губительное зависание в себе, в воздухе Юли, в общем сладкороде и в общем черноночии — приоконном, наскамеечном, набалконном, напольном, напостельном. Был ли это полет? Да. Но, скорее, падение или вертикальное возлетание бог весть куда...

Юля и ты неожиданно стали вместе: ты провожал ее и встречал (жила она через дорогу от универа в доме, где на первом этаже был огромный [по советским меркам] магазин «Спортивные товары»). Ты помотался на Уралмаш (пешком, потому что «гостил» у Юли до полуночи) и с Уралмаша — на трамвае (метро еще не построили). Это было нечто новое, необъяснимое: ты жил ожиданием встречи, но встречи не помнил потому, что ты превра-

щался в Ваню, стоящего под балконом хрущёвки, под квартирой Гали... Тебе казалось, что ты все это придумал. Что все это в любой миг исчезнет.

*Вот и лето прошло
Словно и не бывало
На пригорке тепло
Только этого мало...*

Все стало любовью, и этого было мало. Хотелось увидеть край бескрайнего, нужно было увидеть загадочный круг Паскаля, центр которого везде, а окружность нигде. Ты был нигде. Ты был там, где мало кто бывал. И ты понимал, что ты, скорее всего, не вернешься оттуда... Да и не хотелось возвращаться. Как Тютчев.

*И медленно опомнилась она
И начала прислушиваться к шуму
И долго слушала увлечена
Погружена в сознательную думу
И вот как бы беседуя с собой
Сознательно она проговорила
(Я был при ней убитый но живой)
О как все это я любила...*

Да! Любовь — такая, — это смерть! Любовь — это смерть. Когда ты умираешь не в тот свет, а в иное бытие, прекрасное и ужасное. Нет, страшное...

Нет, необходимое для жизни, для говорения в себя, для ощущения смерти, не конца твоего, не завершения существования тебя, но для чувствования этого завершения всего, что есть ты сейчас. Так окунают лицо в воду морскую, не окунают, а кладут его на линзу горькой воды, чтобы увидеть себя, свое тельце, ноги, пальцы на ступнях, колени, живот, грудь — все, кроме лица своего: лицо не видит себя, целиком отдавшись созерцанию того, что есть, того, что было, того, что скоро не будет...

Иван с Юлей теперь сидели (на общих лекциях) за одной партой, за одной расписной, как деревянная книга, университетской партой. Они и ходили всегда вместе — по коридорам универа, вокруг универа, в филармонию (Иван не любил Брамса, но терпел: в те годы часто «возили» Брамса), в кино (кинематограф Ваня тоже не любил: хоровая эмоция убивала его, он заболел идиосинক্রазией ко всему, что переживалось коллективно). Они просто гуляли. Чаше в парке «пионеров», в бывшем саду бывшего Расторгуева, которого, естественно, расстреляли ленинцы, троцколюбы и свердловцы (хотя и дзержинцев, и всякого другого отребья хватало: Россию захватили пролетарии-бомжи-тунеядцы-алкаши-воры-душегубы — и не знали, что делать с ней. Они знали, что делать им с самими собой: жрать, жрать, жрать, но не знали, что делать со страной... И сейчас не знают, спустя полвека и целый век после переворота 1917 года). Юля и Ваня много читали, чаще вместе:

Юля находила англичан и немцев, Иван — произносил, выносил из себя, заносил в воздух стихи... А еще книги: Ваня покупал много книг (по ночам он дежурил в морге четырнадцатой, уралмашевской, больницы, где работала, в роддоме, его мать; иногда он бегал к знакомым мужикам-грузчикам (уралмашевцам) и перевозил мебелишко граждан с места на место...).

Филфак существовал своим «литературным подпольем» отдельно от философов, но в союзе со студентами журфака. На филфаке-журфаке УрГУ работало литобъединение, которым попервости руководил Борис Марьев, бывший сыщик (окончил юринститут), а в те времена один из самых известных (официально признанных — член СП) поэтов Свердловска. Параллельно он читал античку филологам и журналистам. Его любили. Он был добр, талантлив и хорошо образован (после ментуры окончил Литинститут в группе Сельвинского Ильи, в которой «мастер» делал из пацанов и девчонок — сельвинят — строгал по живому по своим габаритам, — неплохой, способный плотник отечественной словесности, к тому же формалист!). Борис Михайлович Марьев сразу заметил Ваню (видимо, еще и по бороде, черно-смоляной, и по светлым волосам, отраставшим по-битловски на голове). Марьев был вторым профессионало-литератором после Саши Воловика, фронтовика, поэта талантливого, а заодно и мужа Рины Ливензон; Воловик заметил Ваню еще в школе (когда, после выступления мэтра, Ваня прочел, заикаясь, потев и почти плача своего «Оленёнка»); Рина и Александр в конце семидесятых уедут в Израиль, а через тридцать лет Рина и Ваня встретятся в Екатеринбурге и подружатся навсегда... Марьев назначил Ивана старостой Лито — и пошла работа: стихи, стихи, стихи — на бумаге и вслух, в голос, в плач, в ор... Многие в те годы были больны Евтушенко и Вознесенским — вот и кривлянье, оранье, шептанье и танец толстеющих лебедей...

Лито, после смерти Марьева (ему только исполнилось 42 года — сердце; он любил повторять из Гейне: если мир треснул, то трещина прошла через сердце поэта; красиво, но не точно, так как мир всегда трещит по швам и повсюдно, и поэты всегда гибнут — даже тогда, когда трещина проползет, промелькнет, пролетит мимо), возглавляли многие: и стихотворец-фронтовик, маленький, восторженный, который всякий раз хвалился знакомством с Евтушенко: «даже не знаю, как называть его — Женя, Женька или Евгений Александрович, — такой он великий и гениальный». Был еще и журналист лет сорока (Геннадий), и затрапезный старичок, или Старикман, как звали его лито-вцы. Но Ваня (с Юлей — они ходили в это словоблудие вместе) покинул лито при фронтовике-стихотворце, обозвав его дураком и ни хрена не чувствующим поэзии стихоплетом. Это товарищ Яков (пряма как Свердловище) потом до самой своей смерти будет ненавидеть Ивана и тормозить его стишки повсюду — и в газетах, и в сборниках, и в журналах. Зачем тормозить-то?! — все равно никого не публиковали. Двадцать лет не публиковали стишки Ивана, хотя его стихи знали и переписывались народами Свердловской области, Урала и даже в столицах, где с публикациями было еще жестче.

Через три десятка лет Рина Ливензон писала Ване из Израйля, звала в гости. Но Иван (он был женат уже на другой, во второй раз), потерявший любимую женщину, не какую-то определенную и персонифицированную, а вообще любимую. Потерял так — будто она ушла от него, бросила его и т. д., — Иван просто и явно погибал. Он жил в деревне, в доми-

ке, который построил сам, в саду, который развел сам на пустыре, в тайге, в лесу, в полях и на полянах-еланях, в оврагах и на берегах многочисленных речушек, рек и озер. Он тогда не спал семь недель (Ваня не пил уже десяток лет — бросил), плакал в одиночестве, выл, кричал до кровохарканья. Искал ружье. Приготовил веревку, перекинул ее, опетлив, через турник, написал записки дочери, сыну, второй жене и, конечно, Майе, с которой познакомился сразу после ухода из лито, на втором курсе филфака... Покурил. Перекрестился и встал с табурета, чтобы выйти из дома к турнику... Взрослый мужик — годов ему уже за полтос, точнее 55 (возраст смерти Анненского, Заболоцкого, Бродского — ах, как все совпадало)... Встал... И — услышал стук в ворота, и это — в два часа ночи! Иван вышел. Открыл калитку и увидел бледные, лунные лица сына и жены Ларисы, которая спросила сразу, без приветствий:

— Жив?.. Да. Жив. И слава Богу! Мишка вдруг сорвался — едем к отцу прям шас. Поехали...

Мише было тринадцать лет... Странно. Но — понятно: надо жить... В одном из писем Рина писала, строго успокаивая Ваню, что, мол, ты потерял игрушку. Ты не утратил дара своего. Дар — от Бога. Дар — главное. Главное — стихи. Держись и все такое...

В те поры, еще студенческие, среди филологов-графоманов высоко чтились стихи Юрия Кузнецова, поэта от Бога, но быстро и незаметно социализировавшегося, ставшего славянофилом и все такое... Но Ваня очень серьезно переболел его виршами: нет, это не была «испанка» Мандельштама или онкология и онтология Тютчева, Боратынского и других великих — это, скорее, была ангина. Поэтическая ангина: прополоскал горло стихами Тютчева, Заболоцкого, Мандельштама — и ты здоров... Но у Юрия Поликарповича Кузнецова были знобительные стихи, немного, но были:

*Звякнет лодка оборванной цепью
Вспыхнет яблоко в дальнем саду
Вздрогнет сон мой как белая цапля
В пруду...*

*...
Я хотел бы туда повернуть
Где стоит твоё белое платье
Как вода по высокую грудь...*

Или:

*Женщина о чем мы говорили
Заказали скверное вино
И прижались в этом тесном мире
Так что место заняли одно...*

Или:

Я в поколение друга не нашел...

...

Такой души на свете больше нет

Забывшую за поколением новым

Никто не вырвал имени на свет

Ни верностью ни мужеством ни словом...

Однако Кузнецов, хоть и Юрий (Георгий!) сдулся. Был съеден социальной средой московской литературы... Ваня решил никогда не уезжать в столицы-в заграницы. Ему хватило трех лет флота. Пехотного флота. Он не мог дышать без слов «Шатры», «Урал», «горы», «тайга», «река», «озеро», «дерево», «птица», «зверь», «небо», «камень», «глина»...

После ухода из лито Иван был приглашен в другое лито — при заводе «Электротяжмаш» (Эльмаш, сосед Уралмаша и соперник в уличных разборках, боях и сражениях [по тысяче рыл с каждой стороны и при окружении пролетариата вдоль проспекта Космонавтов — границы Уралмаша и Эльмаша]; именно здесь на этом рукопашном рубеже, как раз в центре находилось молодежное кафе «Наутилус», одноименец будущей группы «Наутилус Помпилиус». Именно в «Нау» (NOW! Сейчас) Иван два года играл ритм и пел в кабацкой группе «NOW»...).

Лито на Эльмаше вела Майя Петровна Вяземская (Урал и Сибирь еще сохранили в себе потомков Трубецких, Мусиных, Вяземских и Орловых-Черминских)... В каждом предмете, процессе, в растении, в животном и человеке ты видел то место, ту полость, то дупло, то вместилище, в котором должна быть душа. Если это место светилось — значит душа на месте. Если нет, то нужно было ждать. Ждать прежде всего себя, готового увидеть свечение. Майя светилась вся. С Майей Вяземской Иван встречался лишь однажды: ее пригласили на филфак как выпускницу УрГУ и уже известного здесь, на Урале, и в Москве поэта. (В те времена говорили: поэтессу, потом — поэт Ахматова, например, и, наконец, в разгар гендерных войн двадцать первого века — поэтка какая-то; к примеру, поэтка Жандармбекова... Звучит! А?!) Майя стояла перед аудиторией, сливаясь с оконным светом всем своим свечением: невысокая, но огромная — голосом, глазами, жестами, речью, вообще устами и, конечно, стихами. Это была Красота в чистом виде. По Полю Валери, «абсолютная красота; по Гоголю Николаю — «красота красоты». Иван сидел в среднем ряду, ближе к аудиторной доске и глазел за Майю, но скрытно (разведка!), однако Майя Петровна сразу заметила его взгляд, вошла в него, вцепилась в него — нежно и крепко — и начала читать стихи о любви, о смерти, о Крыме, о Древней Греции, о Катулле... Все заметили, что Майя читает — прямо и адресно — Ване — так, будто в аудитории мест на сорок (битком набитой студюозисами и препами) было пусто, будто в ней были только двое (это заметили все: поэт «выстегнул» из толпы поэта, — это нормально). Такое дознакомство явно и ясно показывало, что Майя и Ваня были знакомы всегда (как говорил Ваня вслед за Майей: еще до рождения и уже после смерти). Мистика? Нет — жизнь. «Жизнь такова, какова она есть — и больше никакова», как сказал один гениальный графоман с Вторчермета, где лет через двадцать будет произносить (и носить, и подносить!) свои стихи Борис Красный. Борис Рудый. Борис Рыжий.

*И Тютчев благословил эту встречу:
Прекрасный день светился не исчез
Полнеба обхватив бессмертною зарею
А мы из глубины полуночных небес
Глядим на мир пророческой звездою...*

Ваня с рождения (и с до-рождения?) имел мощный широко-глубокоохватный слух, всегда переиначивал, нет, корректировал чужие тексты (известные тож), музыку, живописные и кинематографические тексты. Часто ему (если не всегда) говорили: ты все переврал! Но: ты знал, что не переврал и не переделал, а пропустил сквозь себя и Нее. Она соврать не даст. Ни одной фальшивочки не допустил — накажет такой бессонницей, что в птичку превратишься: будет скакать, порхать и попискивать... И так тоже бывало. Она изменяла все звучащее: усиливала ветер, шум рощи березовой, шипенье соснового бора, говор сельчан и деревянную речь горожан, слова во всех песнях (и в англоязычных), фабулы романов, повестей и рассказов, стиль — идиостиль (идиотский, индивидуальный многих авторов и писак). Порой это все доходило до безумия: лет через семь-девять, находясь в Индии (командировка на три года — преподавание русского языка как иностранного: языки-посредники — английский, малаялам [дравидийская языковая семья], хинди, урду и язык жестов [изобразительных: делай, как я, как в МП, в разведке, в рейде]).

В тот день тройного свечения Майи, ее стихотворений и окна, собиравшего в себя все золотистое дня, неба, воздуха; в тот день — в день творения всего на свете — они с Майей не поговорили. Даже не поговорили! — но и так всего было много, страшно, прекрасно, смертельно и чудесно.

«Я знаю силу слов...» — не силу и не слов: я знаю вечность слов, я знаю пламя слов, я знаю шорох слов, я знаю, что слова — это я, а я — это слова, и между нами Вселенная, круг, центр которого везде, а окружность нигде... Арсений Александрович это знал.

*Мало ли на свете
Мне дано чужого
Но за все в ответе
Музыка и слово...*

Но!.. Ты ведь понимаешь, что озарение и антиципация (предвосхищение, спасибо Гёте) — не в тебе и не в слове, а во всех девяти стихиях. Озарение возникает только после отемнения, замрачения, замутнения. Отемнение и озарение — сестры. И поэзии нужны обе сестры, оба состояния: ты живешь в темноте разума, души и сердца и ждешь просветления. И — летят тебе в лицо и в душу светляки. Светляки и светлячки слов. Так и прорываешься, так вынырываешь, так выживаешь. А водка — не помогает. И подруга не понимает, что происходит: ах, я ему разонравилась... козел... графоман... идиот... и т. д.

Они с Юлей стали неразлучны. Казалось, навсегда. Неразлучность была множественной, чередующейся так: вместе, один, одна; в отчаянии, в радости — вместе, одна, один.

Осень появилась ниоткуда и как-то сразу вся: воздух захрустел, листва облетела и улетела, как летние птицы, город стал просторнее, дома — уменьшились, присели, приподсели, тротуары расширились, лужи превратились в лужи большого (но разного) диаметра: земля смотрела сквозь них на небо, которое и без оптики прицельной, «оружейной» приблизилось вплотную к тому, что уже не дышало, еще дышало или задыхалось от горя, счастья и любви... У Пионерского прудика (Харитоновского бывш.), подзамерзшего, подбитого камешками, утками и поступью редкого тепла — несильного, неубедительного, но настоящего, потому что последнего, — у прудика Юля вынула из ледяной водички первое хрупкое стекло. Ледышку. Большую — и поцеловала ее, и, не отрывая губ, крупных, темно-алых, от своей стороны льда, приблизилась к Ване, к его лицу — и Ваня поцеловал, прижался ко льду губами, расплющил губы как раз напротив Юлиных губ. Поцелуй через лед... Странно... Изысканно, да? — думалось тебе, и ты, понимая, что это игра, перестал играть и стал целовать льдинку всерьез — насквозь, до воли, до свободы, до холодного тепла Юлиных губ...

Они гуляли долго, бесконечно. Иван бывал в ее доме, но к себе, на Уралмаш, не приглашал: в бедноту, в однушку, в однушку, в однушку... Стыдился? Стеснялся? Да... Он ни слова никому и никогда не говорил о службе в армии, на флоте, о командировках, о разведке. Редко и лаконично заикался о дисбате (за что сидел — не говорил: убийца, да? Ужасно какой!..). На лекциях ты, сидя рядом с Юлей, иногда вдруг онемевал. Ночь. Буш. Постоянный, непрерывный и беспокойный насекомый звук не дает уснуть, не дает думать, не дает воображению ни вздохнуть, ни пукнуть. Будто кто-то или что-то настраивает радио или цикаду, и всех насекомых и гадов сразу, всех вместе, и они пищат, шипят, щелкают прямо в тебя и в небо, которое тоже не спит, проклиная буш, джунгли, ночь. Голова твоя наполняется стрекотом и шипом, и, чтобы не сойти с ума и не оглохнуть, ты выливаешь цикадный напиток, эту жидкость живности из черепа — раз за разом — то сквозь уши, то сквозь глаза, то сквозь сердце. Но гривенник ящерицы цокал где-то в горле и в затылке, но цикада ввинчивалась сквозь ухо в мозг, а иногда чавканье зевающих и жрущих грызунов измазывало лицо твое и всего тебя, голого перед Богом, шоколадной грязью... Или ты вдруг начинал недоумевать: если союзники освободили заключенных из гитлеровских лагерей, то кто же и что же освободит невинно и насильно осужденных (а их миллионы!) из сталинских лагерей?..

Продолжение в следующем номере.

Евгений СТЕПАНОВ

ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2024 ГОДА

ВНИМАНИЕ

Кто меня точно не обделит своим вниманием, так это смерть.

ПОЭТ

Встретил на литературном вечере одного поэта.

Говорю ему:

— Присылай новые стихи!

Он отвечает:

— Хорошо.

На следующий день присылает.

Письмо начинается такими словами: «Женя, как ты просил, посылаю тебе стихи!..»

Разве я просил?

Просят милостыню на паперти.

ПРОЗАИК

Выпустил книгу в 700 страниц одному прозаику.

Отдаю ему тираж.

Писатель говорит:

— Вы еще обещали рецензию в «Литературных известиях» напечатать на эту книгу.

— Нет, — говорю, — не обещал. И в Договоре этого нет.

— Да, — неожиданно быстро соглашается прозаик. — Не обещали. Но сделаете?

— Сделаю, — отвечаю я.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, режиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

ЗНАКОМЫЙ

Племянница поступала в один престижный ВУЗ.

Ее родители попросили меня помочь — они знали, что я этот ВУЗ закончил.

Я позвонил одному своему хорошему знакомому, который раньше в этом ВУЗе преподавал. Обрисовал ситуацию.

Спросил:

— У тебя есть там знакомые, сможешь помочь? Хотя бы проконсультировать...

Он ответил:

— Да, конечно, знакомые есть. Постараюсь помочь.

На следующей день он прислал скачанные из Интернета правила поступления в этот престижный ВУЗ.

Я поблагодарил своего милого знакомого.

А племянница (умница и медалистка!) поступила сама. Без всякого блата.

БОЯРИНОВ

Жил-был мой добрый друг Владимир Бояринов. Писал хорошие стихи, оберегал писательское здание, денно и ночью работал, все время что-то придумывал для писателей...

Все его хвалили, печатали, награждали...

И вот Владимир Бояринов умер.

Где творческая комиссия по наследию? Где улица имени поэта Бояринова? Где публикации неизданных стихов?

Но я, пока живу, буду помнить поэта и моего друга Владимира Бояринова.

ПИСАТЕЛЬ

Знаменитый писатель-релоkant (не буду называть его имени, нет смысла) дает интервью по ЮТЮб.

Говорит о том, что Родина ему ни в чем не помогла. Мол, жизнь дали родители, а всего остального он добивался сам.

Потом писатель-релоkant читает свое длинное и заунывное стихотворение, похожее на рифмованную статью, и сам об этом стихотворении говорит, что оно хорошее.

Не буду давать никаких комментариев.

Не суди — да не судим будешь.

Я думаю о другом.

Если я когда-нибудь скажу, что Родина мне ничем не помогла, считайте, что я окончательно сошел с ума.

Меня бесплатно учили в школе, меня бесплатно учили музыке (аккордеон), тренировали в спортивных секциях (футбол, хоккей, бокс), меня бесплатно учили в инязе, научили говорить по-французски и немецки, меня бесплатно учили в аспирантуре МГУ, дали возмож-

ность защитить диссертацию по филологии, меня бесплатно лечили в больницах (в том числе в ковидной), мне давали бесплатно консультации в литературных студиях и объединениях и т. д. и т. п. Разве я могу быть неблагодарным?

ДЕВУШКА, ПРОПУСТИВШАЯ МЕНЯ В МЕТРО

Кончились деньги на карте Тройка. А продавцов билетов теперь у нас на станции метро Аэропорт нет. Во всяком случае, работают они точно не каждый день. Как войти в метро? Пользоваться автоматами я не умею. Пробую пополнить Тройку через карту Сбербанка. Ничего не получается. И наличных как на грех у меня с собой нет. Прошу молоденькую симпатичную девушку, стоящую рядом, помочь мне пополнить Тройку. Она охотно соглашается. Но и у нее ничего не получается. Тогда она говорит:

— Давайте я Вас так проведу, по моей карте.

Я чуть не прослезился.

Правда, это такой добрый и замечательный поступок.

Вообще, молодежь меня часто восхищает.

Все надеюсь опять встретить в метро эту прекрасную девушку и как-то отблагодарить ее.

ДАЧА

В свое время я поссорился с одной семейной парой, с которой ранее дружил.

Конфликт произошел, конечно, из-за денег.

Я считал, что ребята меня обманули.

А они, разумеется, считали, что виноват во всем я.

Это вообще, очень опасное дело — вести бизнес с друзьями. До добра (во всех смыслах) это не доводит.

Прошло много лет.

Мне позвонил один наш общий знакомый. И я поинтересовался — как там живут эти мои бывшие друзья.

Знакомый рассказал:

— Они живут хорошо. Дачу свою продали. И теперь на старости лет проводят время на квартире.

Я почему-то спросил:

— А кому они продали дачу?

— Сыну, — ответил мой знакомый.

И мне многое стало понятно.

Почему-то я стал уверен, что в том давнем споре правда была на моей стороне.

ПОЭТЕССА

Одна начинающая поэтесса купила у меня книгу стихов «Младший брат травы».

Купила и говорит:

«Я уже вторую книгу твою покупаю. Первую прочитала до дыр, с карандашом в руке...

А этот сборник пусть у меня будет в чистеньком виде. В твоей книге нет многих моих любимых стихов — юмористических; ты их раньше печатал в журналах. И вообще, очень многое не понравилось. Я бы многие стихи сократила, аж вдвое».

Я к любой критике отношусь с пиететом.

Эта поэтесса (откровенная дилетантка, поверьте мне на слово, это объективно) тоже имеет право на свою точку зрения.

Но вот что удивительно — у всех свой взгляд на стихи.

И если подстраиваться под общественное мнение, то ничего хорошего не получится.

Я хочу писать так, как хочу.

Как хочу и как могу.

НОВАЯ ПЕСНЯ

Ко мне в редакцию заехал один мой давний знакомый — автор-исполнитель, гитарист-виртуоз Володя (имя у него на самом деле другое), бывший москвич, переехавший в районный приволжский городок.

...Я уже много лет арендую офис в центре Москвы — в одной солидной организации. В фойе лежит печатная рекламная продукция этой организации, в частности, корпоративный журнал.

Володя стал листать этот журнал и увидел статью про одну свою знакомую.

Говорит мне:

— Мне нужно много таких журналов. Я героиню очерка хорошо знаю. Я от нее завишу по ряду дел. Она большая начальница. Если я подарю ей несколько журналов, она будет очень рада.

— Ну вот и возьми этот журнал, — отвечаю я.

— Нет, одного мне мало, — не соглашается Володя. — Мне нужно несколько. Сходи к руководству офисного здания, попроси у них еще!

Я опешил. Идти к директору офисного здания, просить у него журналы вовсе не входило в мои планы.

Но приятель был непреклонен.

— Если ты не хочешь, я сам пойду. Мне точно не откажут. Меня все знают.

Я взмолился:

— Володя, ты же пришел ко мне, а не в дирекцию... Охранники тебя и пропустили ко мне. Ты хочешь, чтобы у меня были проблемы?

— А какие проблемы?! Ты, что, им не доплатил? Я же так, по-свойски — у нас в районном городке я могу прийти к любому начальнику.

— Даже к тому, у которого арендуешь офис? — уточнил я.

— Нет, наверное, — Володя неожиданно задумался. — Я, вообще, с начальниками стараюсь дело не иметь. Да и офиса у меня нет. Я песни у себя на квартире записываю. У меня домашняя студия.

— А почему же ты меня хочешь выставить в непонятном свете?

— Ну, если ты не хочешь, я не пойду, — согласился Володя.

Я пообещал ему, что попозже уточню у охранника: есть ли еще журналы.

Когда Володя ушел, я перекрестился. Подошел к охраннику. Тот сказал, что журналов больше нет.

Самое интересное было потом.

Через неделю Володя прислал новую песню на мои стихи.

Песня мне очень понравилась.

И я подумал в тысячный раз, наверное: как хорошо, что я сумел решить сложную ситуацию дипломатично.

— Спокойствие, только спокойствие, — как говорил Карлсон.

БУМАГА

Пришел к нам в офис заказчик. Бывший военный. Полковник. Заказывает книгу стихов. Он ее писал несколько лет.

Спрашивает:

— А какая у меня бумага будет?

— 80 грамм, — отвечаю, — офсетная.

И показываю заказчику стандартный листок А4.

Полковник удивляется и смотрит на меня недоверчиво:

— И эта бумага — 80 грамм?

— Да, — говорю. — А на Ваш взгляд, это какая бумага?

— В этой бумаге пять граммов, не больше, — отвечает полковник. — Но меня такая и устраивает. Я люблю, чтобы все было скромно.

На этом наш полиграфический диспут, к обоюдной радости, завершился.

Евгений СТЕПАНОВ

КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ: ВЗГЛЯД ПРАКТИКА

Социальный статус писателя в настоящее время, прямо скажем, невысок. И несравним с социальным статусом писателя в советское время. Многие вещи уже не изменить в лучшую сторону. Но кое-что сделать можно.

Чтобы социальный статус писателя вырос, писатель должен зарабатывать литературным трудом. Но как? Журналы практически не платят. В 2022 году я напечатался в семи журналах. И заработал 4 тысячи рублей. 2 тысячи за подборку из 18 стихотворений в одном центральном журнале и две тысячи за повесть в другом центральном журнале. Можно ли прожить на такие деньги?..

Это происходит не потому, что журналы плохие. Журналы замечательные. Но у них у самих нет денег.

Журналам и литературным газетам (а их не так много — «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературные известия», «Поэтоград», «Слово»...) нужно помочь с распространением.

Сейчас для того, чтобы моя газета «Литературные известия» поступила в крупнейшие магазины и в киоски, я плачу посреднической фирме за распространение. Потраченные деньги вернуть еще ни разу не получилось. Ни разу. То есть это работа в убыток, на голом энтузиазме. Но энтузиастов никогда много не бывает.

Без помощи государства, полагаю, сейчас не обойтись. Литературным изданиям нужна помощь с распространением. Иначе нам будет совсем трудно. Если вы обратите внимание на киоски Желдорпресс (это крупнейшая сеть), то там из литературных журналов вы увидите «Юность» (главный редактор — депутат Государственной Думы и руководитель АСПИР Сергей Шаргунов), но там нет ни «Нашего современника», ни «Москвы», ни «Нового мира», ни «Знамени», ни «Звезды», ни «Невы», ни «Детей Ра», ни «Зинзивера»...

Ну не могут все редакторы быть депутатами Госдумы... А распространять журналы надо.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель, режиссер, автор полнометражных фильмов «Христос-Человечество» и «Основной вопрос». Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, Болгарии, Румынии, Венгрии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журналов «Дети Ра», «Зинзивер» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премий журналов «Нева» и «Сура». Руководитель Союза писателей XXI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

И вот этот вопрос — о распространении некоммерческих литературных СМИ — надо решать на государственном уровне, возможно, на законодательном.

Еще один очень важный момент. Электронные порталы литературных СМИ.

Это и есть наш Русский мир. Когда на порталах Журнальный зал, Читальный зал, Журнальный мир и других размещаются литературные издания из разных городов и даже стран, это и есть наша мягкая сила.

Мы подавали на грант (портал «Читальный зал», объединяющий более 50 изданий) лет десять назад в Федеральное агентство... Получили отказ. Делаем сами. Пока справляемся. Но силы людей не бесконечны. Важно сохранить то, что есть. Вовремя передать дело в надежные руки. Иначе (когда дело держится на энтузиазме отдельных людей) дело может неожиданно завершиться.

Сейчас мы имеем следующую ситуацию: закрыты журналы «Октябрь», «Литературная учеба» (основанная еще Горьким!), «Арион», «Литературное обозрение», нет печатной версии газеты «Книжное обозрение»... Это сильные удары по литературе и по культуре в целом. То есть, конечно, необходима консолидация усилий, вплоть (я к этому не призываю, но и не исключаю) до — национализации литературных брендов и перехода их под эгиду государства. Разумеется, это должно происходить добровольно, при взаимном желании заинтересованных сторон.

Лично я как владелец многих литературных СМИ готов эти темы обсуждать со всеми заинтересованными сторонами.

**Геннадий Айги, «Стихотворения»
М.: Эксмо, 2023**

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Геннадия Айги, и эта книга — первая ласточка в серии возможных книг и публикаций. Друживший с Айги, поэт и литературовед Арсен Мирзаев подготовил книгу, в которой за нейтральным названием «Стихотворения» оказалась спрятана разнообразная творческая деятельность поэта.

Здесь помимо стихов две оригинальные книги «Мир Сильвии» и «Поклон пению», обе идут в разрез с тем, что принято считать стихотворениями. Да, и надо сказать, что тексты Айги вообще лишь условно можно относить к традиционному стихотворству. Его индивидуальная манера может быть соотнесена с творениями русских авангардистов, с наследием которых он работал, будучи сотрудником Московского Музея Маяковского в течение десяти лет, общаясь с самым главным заумником Алексеем Елисеевичем Кручёных и крупнейшим знатоком авангарда Николаем Ивановичем Харджиевым (с ним он делал выставки в музее), а также встречаясь с Давидом Давидовичем Бурлюком. Последний, по словам самого Айги, назначил ему следующую встречу на Луне!

Так вот, в новой книге есть еще раздел «Проза о поэзии», куда вошли: интервью Айги о Маяковском «Литературной газете», «Листки — в ветер праздника», посвященные 100-летию Велимира Хлебникова, а также серия эссе об авангардных поэтах. Эти эссе вместе с подборками печатались в 1989 году в журнале «В мире книг», а одно эссе в 1990 г. в журнале «Сумерки».

Елена Гуро, Василиск Гнедов, Божидар, Василий Мазурин, Павел Филонов, Михаил Ларионов. И отдельно еще специальное эссе о Кручёных.

Таким образом Геннадий Айги восстанавливал подлинную картину русского авангардного движения, в котором творянин часто соединял в себе поэта и художника, как Елена Гуро и Кручёных, или художника и поэта, как Филонов и Ларионов, а также включал расширенные стратегии, как Гнедов или Божидар. Впрочем, расширенные стратегии присущи всем, к кому обращается в этом разделе Айги — как собственно прямой наследник движения. И он сам легко размыкал рамки условного поэта, создавая необычные тексты, такие как в «Поклоне пению», представляющие на русском языке вариации на темы чувашских, татарских, марийских, мордовских, удмуртских народных песен. Мне довелось некоторые из этих вариаций слышать в домашнем чтении Геннадия Айги, с комментариями, которые уводили далеко, в мир детства поэта и глубоких касаний народного песенного творчества. Мы говорили тогда о том, как Хлебников, Гуро, Каменский, Гнедов обращались к истокам народного поэтического, как на интуитивном уровне воспроизводили потом в своем творчестве народные мотивы.

Кстати, в эссе о Гнедове, о его пронизательных словоновшествах Айги пишет: «Позволю себе высказать здесь следующее: существует род стихов, которые, прежде всего, надо *воспринимать, переживать* — *понимание* в этом случае может наступить как *следующий этап*».

Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. лауреат премии «Писатель XXI века». Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, член Русского ПЕН-центра и Союза писателей XXI века.

Это во многом относится и к вариациям из «Поклона пению».
Запомнилось с тех пор вот эта вариация из чувашско-марийских:

Чтобы кукушка шалила, я не слышал, —
чтобы, заикаясь, она хохотала!
Видимо, у Бога кончаются
все умные Его времена.

И возвращаясь к эссеистике Айги, которая исходит из его обостренного чувства поэзии и вызывает к цитированию. Вот фрагмент из Листков Хлебникову: «Поиски, надежды и достижения века, его иллюзии и духовные крушения, на мой взгляд, выразились в личности и творчестве Велимира Хлебникова не *истинностью* в философском и теологическом смысле, а *верностью* проявления *поэтической стихии*: обширная работа по вызволению этой стихии заставила заработать язык как "вселенную" — от расщепления "атомов" слова до мыслительного "упорядочивания" слов-звезд, — как сказал бы сам поэт».

Как раз то, что мы можем обратить в сторону поэзии самого Айги. Листки книги его полетят в «ветер праздника»...

**(Не) видимый снег. Посвящается Айги. Сборник произведений. —
Чебоксары: Free Poetry. 2024**

И еще одно издание в «ветер праздника», по материалам задуманного еще ранее проекта Эвелины Шац и Татьяны Грауз «Айги-21». 26 авторов — поэты, филологи, художники, которые также и поэты. Стихи, статьи, эссе, посвященные Геннадию Айги. Своего рода путешествие вместе с Айги. Или, как пишет Эвелина Шац:

«Поэты странствуют в поисках молчания. В предвкушении внезапной красоты неведомого пространства».

И в этом странствовании возникают новые строки, пересекающиеся со строками Геннадия Айги. Как пишет здесь Наталия Черных: «Айги где-то всегда рядом. Причем, при жизни его я даже знакома с ним не была. Но потом начала читать и вот теперь читаю. То удаляясь, то возвращаясь. Если есть идеальное представление о поэзии, то это Геннадий Айги. Это то, что раз навсегда меня изменило и с чем я живу».

Добавлю и пару строк от себя, вошедших в книгу:

...и как будто впервые читаешь строки Айги, складывая
слоги так, чтобы выросло Слово, то, которое могло
остановить Солнце...
...эти вспышки слова в темноте времени, словно проре-
зи звезд на ночном небе...
...слово само по себе — не обозначением предмета —
собственно *supremus*...

...такое слово было найдено — ЕСМЬ —
...слово как совокупность идей, связующих, первичное
слово, как круг, крест, квадрат — первичные элементы,
возведенные в степень остойчивости, говоря прямо
словами того, кого мы называем Айги...

**Пётр Бывалый, «Интимная лирика»
М.: «Вест-Консалтинг», 2024**

Интимная лирика, да еще и с пометкой «18+» — это стихотворения, в которых отображаются самые сокровенные переживания лирического героя. В книге Петра Бывалого найдется немало стихотворений отнюдь не для детского чтения. А почему бы, собственно, и нет? Стихотворение — это своего рода исповедь, и ханжеское замалчивание тут попросту неуместно.

А начинается сборник торжественно и печально. Осознанием того факта, который многих из нас беспокоит, автор делится с читателем весьма прямолинейно:

Принимая и радость, и горе
В охраняющий пламя сосуд,
Я к последнему синему морю
Свет души, словно факел, несу.

А что же море? Примет ли оно дар человека? Почему же так часто возникает чувство утраты об ушедшей юности? Закат жизни, о котором печалится лирический герой, все же красив — ведь солнце плавно опускается за горизонт, и эта картина величава:

Море примет светило, — волнуясь,
Промелькнет угасающий блик...
Оглянись, моя буйная юность!
Я желаю запомнить твой лик.

У любви есть интересное свойство: о ней тяжело говорить. Хотя она может подстегнуть человека к безумным поступкам или, напротив, выпустить наружу скрытый потенциал, доселе дремавший где-то в глубине души.

Ах, Тома, Тома, я влюбился,
И это вылилось в кошмар:
Я в паутине страсти бился,
Как незадачливый комар.

Нельзя не заметить это легкое, самоироничное отношение лирического героя к жизни и к внезапно нахлынувшей влюбленности. Но на смену игривой интонации приходит драматическая, когда лирический герой испытывает раскаяние, оглядываясь в прошлое:

Меня позвали неизбежность дня,
Грядущие болота и тайга...
А женщину, согревшую меня,
Запорошили новые снега.

И хотя здесь напрямую не звучит «Прости меня», эти слова угадывается читателем сразу же. Многогочие говорит: разошлись. Он оставил ее спокойно, видимо, без объяснений, просто пропал. А со временем аукнулось, и это болезненное переживание лирический герой Петра Бывалого разделяет с читателем. Белый цвет олицетворяет чистоту, а образ снега глубоко символичен. Это не просто холодные атмосферные осадки, это прощание с прошлым, окончательное и бесповоротное. И короткое упоминание женского тепла лишь усиливает горечь невозвратного: все, прожито, отболело. Точка.

Любовь в лирике Петра Бывалого многогранна, но особенно часто встречается мотив страстной, всепоглощающей любви. Причем авторский взгляд трезво оценивает происходящее, но поэт оправдывает себя и не собирается отказываться от чувственных удовольствий:

Только разве поэт виноват,
Что живет в бесконечном полете,
Где его аскетический взгляд
Сообщается с голосом плоти.

Наше желание ощущать страсть — это желание жить полной жизнью. Это чувство вызывает в человеке эйфорию и радость. Оно может быть очень сильным, однако длится недолго. Страсть подстегивает нас, побуждает добиваться своего. Она может стать как благословением (если обращается в конструктивное русло), так и проклятием (когда человек пускается во все тяжкие). Оправдывая такую спорную черту характера многих поэтов, как любвеобильность, автор убежден: этот «бесконечный полет» обязан служить поэту источником радости и вдохновения, мотивировать на новые творческие достижения.

Если же человек испытывает настоящую любовь, то, по мнению автора, он обязан быть искренним и честным:

В любви нельзя хитрить, юлить и лгать,
И я, хотя и не горю в экстазе,
Но вовсе не хочу пренебрегать
Ни малой веткой сокровенной связи.

А и не надо пренебрегать. Стоит искать, знакомиться, выбирать — и, наконец, строить крепкие отношения со второй половиной. Книга Петра Бывалого — как раз об этом, о том, что любовь не терпит притворства. Как говорил выдающийся психотерапевт Владимир Леви: «Долга любить нет. Есть только свобода любить, и эту свободу можно открывать в себе снова и снова».

Вера КИУЛИНА

**Виталий Мальков,
«Самый главный начальник. Книга первая. Жрец государства»
М.: «Вест-Консалтинг», 2024**

Как тяжело живется на свете высокопоставленным чиновникам! Какими эпитетами их награждают «благодарные» граждане: «внушающие доверие», «ответственные»? Как бы не так! Обратная связь от народа звучит жестко: самое мягкое словечко в адрес власть предержащих — «коррупционеры». А им-то каково, особенно руководителям среднего звена в крупной государственной структуре? Нижестоящие тебе жалуются, равные стараются «подсидеть», а вышестоящие не балуют благосклонностью, но лишь раздают указания тоном, не требующим возражения. Сплошной стресс!

В романе Виталия Малькова описана нелегкая жизнь господина Авоськина, севшего в кресло начальника серьезного государственного учреждения. Леониду Андреевичу выпало немало забот: то курировать частный детский сад, то спасти бывшего прокурора города от нечистой силы, то внедриться в некую с виду безобидную организацию «прогрессоров». Как и положено, в ходе выполнения очередного задания вышестоящего руководства случается у нашего глубоко женатого героя страстный роман на стороне... Несмотря на уточняющий авторский подзаголовок, о том, что данное произведение относится к жанру «роман-небыль», социальные реалии отчетливо угадываются читателем. Иерархическое чувство у чиновника должно быть развитым, а лицедейство и лицемерие обязаны стать его второй природой, иначе — как минимум, уволят. Неизбежная гибкость в отношении соблюдения моральных и юридических норм также необходимы руководящему работнику. Эти метаморфозы человеческой психики отлично отражены автором в эпизоде с роботом по имени Клерк. Поначалу беспристрастное чудо техники вызывает у функционеров беспокойство: «Через два дня испытание андроида успешно завершится, и вскоре сотни таких Клерков появятся в учреждениях по всей стране, замещая живых чиновников. Вы понимаете, какую угрозу они несут всем нам? Быть может, эти Клерки заменят и кого-то из вас, а может, даже и меня». Но из неутешительных фактов быстро делается вывод, который выливается в активные действия: «— Чтобы эксперимент с роботом не завершился успешно, Клерк должен выйти из строя. — Нагаев спрятал платочек обратно в карман пиджака. — И вы должны... хм... это обеспечить». И они-таки обеспечивают. Управлять — это непростое умение, тут особые навыки требуются...

Гротеск в художественной литературе — это всегда преувеличение, деформация объективной реальности авторским взглядом. Так, к воспитанникам детского сада «Золотая репка» воспитатели обращаются как ко взрослым — по имени-отчеству, начиная с младшей группы: «Мы обращаемся к нашим воспитанникам только на "Вы", — пояснила Рябова, заметив удивленные лица членов комиссии. — Поскольку уже в этом возрасте у ребенка закладывается уважение к своей личности, которое будет необходимо ему в будущем на руководящем посту. Ребенок должен понимать собственную значимость в этом мире». И хотя мы видим, что «уважение к личности» в данном контексте гипертрофировано, нет-нет да и промелькнет мыслишка: не мешало бы и детям простых смертных чуть больше внимания уделять, хотя бы не орать на них, как это часто делается в детских садах.

По мере развития сюжета нарастает и гротескный мотив. Применяя гротеск, писатель убеждает нас в абсурдности происходящего. Так, подравшись ночью с «нечистой силой»

на даче у бывшего прокурора, Леонид Андреевич и его заместитель наутро начинают смутно догадываться, что мутузили-то они друг друга. Что же касается не раз упомянутых ими чертей, то не всякие сущности мешают жить, а глубоко засевшие в их душах пороки, в частности, разнузданное употребление алкоголя. Все выглядит смешно, но это смех сквозь слезы: «— Ну, вроде как, — пожал плечами Бекасов. — Правда, черти эти были какие-то... хм... странные. Матерились и дрались прямо как мы, люди. Мне даже показалось, будто мы друг друга хватали».

Перед читателем предстает мир, полный фантастических сущностей, с которыми на полном серьезе взаимодействует центральный персонаж. Странный Голос, именующий Авоськина Владыкой Кабинета, еще более странный Артефакт, жутковатый сон, в котором Леонид Андреевич отказывается от ордена, — смешение земного и внеземного миров органично смотрится в этом романе, более того, воспринимается как должное. В соответствии с законами жанра, гротескному роману присущ алогизм. Иными словами, гротескный образ сочетает в себе элементы реального и фантастического, смешного и драматичного — для более впечатляющего выражения творческого замысла. И вот сидит читатель, переживает за Леонида Андреевича: куда его в следующий раз занесет — к ведьмам? Чертей ведь он уже видел...

Кстати, фамилия главного героя говорящая. Поясню для лиц, рожденных в нулевые и позднее: авоська — это сумка-сетка, сплетенная из суровых нитей. Эта хозяйственная сумка была символом советского времени. Чего в них только не носили — от апельсинов до спортивного инвентаря! Наш Леонид Андреевич родом из советского прошлого, и, конечно же, настроен решительно приносить блага в дом, в семью, пусть даже и добывать их, скажем так, не совсем законно. Ну и без русского «авось» тут не обошлось: ввязываясь в историю с роботом, главный герой вынужден признать, что главное для него — исполнить сие моральное поручение, а дальше хоть трава не расти.

Сюжет романа, как в хорошем сериале, обрывается на самом интересном месте. Что стало с Афродитой Ушаковой и возобновится ли их страстный роман с господином Авоськиным? Какую роль сыграет во всей этой истории таинственный Артефакт? Останется ли наш герой Владыкой Кабинета? Послесловие дает надежду, что непроясненные повороты сюжета разрешатся самым неожиданным образом. Автор обещает продолжение: «Что ж, спешу обрадовать тебя известием о том, что у истории про ГУУНО и его начальника, конечно же, будет продолжение, и оно, надеюсь, поразит твое воображение неожиданным поворотом и масштабом сюжета. Ведь когда речь идет о чем-то внеземном, то, конечно, легко может произойти нечто из ряда вон выходящее и даже фантастическое. И оно непременно произойдет. Заявляю это вполне компетентно, так как, в какой-то мере, и сам являлся участником описываемых событий». Звучит многообещающе. Что ж, ждем с нетерпением.

Психология чиновника и коррупционера показана автором именно в гротескном варианте, поскольку такой вариант и смешон, и наименее травматичен для читателя. Никому, кроме аппарата чиновников, не дано от государства такое множество возможностей влиять на людские судьбы. В романе это могущество раздувается до абсолютной мании величия. Ход мыслей Авоськина до того грандиозен, что переживаешь, как бы он с ума не сошел от собственной важности, и от сопереживания невольно переходишь к едкому хохоту: «Но... является ли бог-начальник высшей формой существования разумного существа?

А что, если и у каждого бога имеется какое-то свое начальство? Ведь и такое тоже вполне возможно. Да-да, очень даже возможно! Начальник бога!.. Вот она, самая главная должность в Мироздании! И вот в чем суть самого бытия...» В своем романе Виталий Мальков, превращая сухие будни руководящего работника в театр абсурда, вызывает у читателя искреннее желание пожалеть чиновников. И именно эта капелька сострадания дает нам робкую надежду: а вдруг, пройдя сквозь всякую бесовщину, есть еще у чиновника шанс стать человеком?..

Вера КИУЛИНА

**Софья Оранская, «Летопись Любви: Красное-и-Белое»
М.: «Вест-Консалтинг» 2024**

С началом цифрового 21-го века в моду вошла экономия чувств. Множественные психологические журналы, тренинги и пособия внушают жителям новой эпохи, что главное — это нежное и заботливое отношение к себе, эдакий инфантильный эгоизм, который допускает присутствие рядом лишь комфортных условий, предметов и людей. В сегодняшнем понимании взаимная любовь — это когда вместе хорошо и удобно. Любые же сильные эмоции, вспышки страсти, а тем более сердечная боль и страдания объявляются чуть ли не психическим заболеванием, отклонением от нормы, которое срочно надо прорабатывать с психологом и беспощадно выметать веником из души, возвращая ей состояние безмятежной дремоты. Однако люди утонченного, творческого, богемного склада не спешат поддерживать эту модную тенденцию, по-прежнему ностальгируя по искреннему полету чувств, по сильным, порой доходящим до безумия порывам души, и даже по томящей, мучительной боли сердечных ран, которые разрушают гармонию бытия, но одновременно напоминают нам, что мы — все еще живы.

К таким соискательницам и одновременно исследовательницам потаенного мира человеческих страстей относится русская поэтесса, с 1990-х годов проживающая в Париже, Софья Оранская. Начиная свой новый сборник стихов, охватывающий более чем 25-летний творческий путь, с выдержки из авторской статьи о природе и сущности подлинной страсти, она определяет ее для себя как завесу, «которая отделяет Мир рациональный от Мира иррационального, Высшего». И если, по определению Антуана де Сент-Экзюпери, любовь рождается там, где двое смотрят в одну сторону, то страсть, по мнению поэтессы, заставляет влюбленных смотреть лишь друг на друга, не замечая вокруг ничего более.

Именно это состояние всепогруженности в переживаемое наисильнейшее чувство, чувство, вышедшее на самый пик, отражает тонкая женская лирика Софьи Оранской, в которой смешение стилей и тяготение к символизму создают ощущение множественности полутонов и недосказанности смыслов.

О, Кара!
Утонуть в твоих карих глазах
как в пламени дерзкой свечи.
Лучи, лучи...
Лучами
стянуть живущее —
льнущее
к звездам — к Юноне...
Авось —
обойдется —
в ливне-потопе сольется
в моря —
в океан —
в замкнутость диких выжженных
ран.

В данном примере сразу бросается в глаза метафорическая отсылка к знаменитой на весь мир Ленкомовской рок-опере Андрея Вознесенского и Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»: «Не мигают, слезятся от ветра безнадёжные карие вишни...». И это отнюдь не случайно. В самом начале книги стоит посвящение легендарному исполнителю главной роли, выдающемуся советскому актеру театра и кино Николаю Караченцову. Возможно, потому что он (особенно в роли графа Рязанова!) буквально воплощал собой пламенный, страстный темперамент, покоряя силой своей артистической энергии тысячи сердец, заставляя зрителей рыдать навзрыд над бессмертными строчками, ставшими притчей во языцех: «Ты меня никогда не увидишь, ты меня никогда не забудешь»... Кстати, и они изящно обыграны на страницах поэтического сборника Софьи Оранской «Летопись Любви: Красное-и-Белое»:

Эти крылья — стаи вороньи.
Эти ветры — зяби на водах.
Будет день — никогда не увидишь.
Будет ночь — никогда не забудешь...

Опыт художественного исследования любви и страсти в лирических стихах автора многогранен и разносторонен. Здесь и чудо взаимного погружения, и восторг разделенного чувства, и болезненный разрыв с неминуемым разочарованием, который все же не обрывает полета сильной, страстной души, всегда находящейся в поиске:

И нет последнего предела.
Предел — великий горизонт.
И я в величье том посмела
Открыть второй в тех войнах фронт —

Тем предсказанием Эпохи.
И ты, тот любящий, прощай!
Зачем нам на прощанье вздохи?
Любить меня — не обещай.

Переходя от классической силлаботоники к смелому авангарду, обращаясь к традициям поэтов-символистов Серебряного века и одновременно создавая собственные оригинальные, самобытные образы на русском и французском языках, Софья Оранская пробуждает в читателях знакомый каждому волнующий трепет воспоминаний о собственных любовных переживаниях и возвращает ощущение свежести уже, казалось бы, давно позабытого первого чувства.

Мария ИВАНОВА

**Лиззи Блу, «Укротившая драконов»
М.: Издательство АСТ, 2023**

С точки зрения материальной символики, образ дракона в восточной культуре олицетворяет первенство, мужество и силу духа. Если же мы говорим о духовной символике этого образа, то упоминаем это мифическое существо, когда речь идет о трансформации — не о противостоянии в духе «разрушим до основания», но о готовности изменить старое ради стремления к новому. Дракон — ключ к тайным знаниям, и победить его — опять же, не убить, а подчинить себе — то есть присвоить и обратить себе во благо его бывшее могущество. Это выбор — не опускать рук, ни в коем случае не падать духом, даже когда все вокруг ополчилось против тебя.

Автор романа «Укротившая драконов» Лиззи Блу, выбрав ключевым словом названия книги столь неоднозначный символ (драконы есть во многих культурах, но ведут себя то как добрые духи, то как коварные искушители), также заявляет, что история основана на реальных событиях. Еще не открыв книгу, мы знаем: ее героиню будут испытывать на прочность. Ее придется показать свой характер, чтобы выжить в той профессиональной нише, куда женщинам доступ практически закрыт. Книга была анонсирована бизнес-школой Оксфордского университета, которую закончила автор. Предположу, что основа сюжета автобиографична (недаром автор «отдает» главной героине свое имя), оттого повествование выглядит целостным и логичным. Повествование ведется от первого лица, что усиливает вовлеченность читателя: в истории появляется дополнительная психологическая глубина, которой сложно достичь, когда автор говорит от третьего лица.

Непосредственность, с которой женщина рассказывает о себе, вызывает у нас доверие. Усиливается и фокус внимания — всем понятно, кто тут главный, кто в конечном итоге с честью пройдет испытания корпоративной культурой.

Лиза с детства амбициозна, а причины этой «неженской» целеустремленности банальны: жизнь в провинциальном городке и стесненное материальное положение. Девушка умна и упряма, она рано поняла значение словосочетания «социальный лифт»: «Многие отличницы работали на родительскую похвалу. Я же работала на свое будущее». Опять же штрих к портрету — рациональное мышление и стойкость характера приведут ее к большому будущему. С визуализацией образа проблем не возникает — характер Лизы раскрывается через содержательные диалоги. Чего стоит насмешливая реплика ее сокурсника: «И как это ты заняла единственное бюджетное место?». А вот так. Упорным трудом и незаурядной сообразительностью. Нам ясно: дальше будет только жестче. Мир мужчин беспощаден: сильных уважают, слабых «едят».

...После получения Сингапуром независимости от Китая возможности экономической активности женщин в этой стране намного возросли. Быстрый рост экономики вынуждает город-государство ориентироваться на образованных заграничных специалистов как мужского, так и женского пола. В то же время «стеклянный потолок» для женщин никто не отменял: вроде бы нигде законодательно не закреплено, что самые высокие должности не могут занимать женщины, но они их не занимают. Даже если женщина обладает необходимой квалификацией и коммуникативными навыками, ей гораздо сложнее получить статус ведущего сотрудника, не говоря уже о руководящей должности. Женщины до сих пор

сталкиваются с домогательствами на рабочем месте. В книге это показано мельком, но достаточно ярко, еще в самом начале романа, когда главная героиня, будучи студенткой, устраивается на подработку: «Он даже не скрывал, что женат. Прими правила игры, все предельно прозрачно».

В такой же жесткой конкурентной среде Елизавета оказывается и за рубежом: «Попав в Сингапур, я хотела верить, что прогрессивной бизнес-столице незнакомы правила патриархальной игры, а мужчины здесь придерживаются “международных стандартов качества”. Стекла моих розовых треснули — подобное поведение не имело географических границ. В глобальном мире каждый отдельный мужчина решал, что он может себе позволить, а что — нет». Этот мир показан автором без прикрас. В противостоянии двух миров, мужского и женского, смелая девушка проявляет свои лидерские качества, деловую хватку. Особенно выразительны диалоги в рамках рабочих отношений Елизаветы и ее начальника Алана, «акулы бизнеса», а также авторская характеристика этого неординарного мужчины: «Алан не обращал внимания на престижный МВА в резюме или рекомендации. Он оценивал то, как человек проявлял себя в той или иной ситуации, его смекалистость и реакцию на среду. Ведь часто события в нашей отрасли развивались непредсказуемо. Именно так босс тестировал и отсеивал людей. Он хотел определить мои сильные стороны, выжать из этого максимум». Нам очевидно: здесь по способностям берут от каждого, а воздают не только по труду. И вообще, профессия судового брокера — не для женщин...

Рассказывая эту увлекательную историю, Лизи Блу (красивый псевдоним, звучный!), знакомит нас с миром, в котором война полов набирает обороты. А как иначе, ведь профессия, в которую погружается смелая героиня, не терпит неудачников. Многомиллионные контракты. «Воротилы» нефтяного и газового бизнеса. Эта порода людей не знает отказов и не признает запретов, оттого встречаются в тексте и весьма откровенные сцены. При этом автор делает акцент на то, что ее персонаж — женщина семейная, дабы ее профессиональные и личные достижения читатель не обесценил бы «философским» умозаключением: просто одинокой представительнице слабого пола больше некуда себя деть, кроме как посвятить себя карьере.

Российские читатели (а особенно — читательницы) воспитывались, мягко говоря, в других традициях, которые наша героиня поначалу отвергает. Но война войной, а Елизавете приходится столкнуться с извечной дилеммой сильных женщин: высокооплачиваемая работа или традиционная гендерная роль — жены и матери? Следя за ее становлением как сотрудника, мы немного упускаем из виду, что она замужем (кстати, мужа она выбрала мудрого и понимающего, старше себя). Тема несоответствия своего социального статуса и природного предназначения женщины и у такой сильной героини вызывает смятение. У детской кроватки ее посещают невеселые мысли: «Укладывая ребенка, я все еще думала о своей роли. Кто я? Карьеристка или прежде всего мать? Успешно совмещаю или все-таки нет? Сидя в темноте у кроватки сына, я прислушивалась к его дыханию. Чистый ангел». Как совмещать семью и карьеру?.. У девушки менее талантливой и упорной такой выбор не стоит. Не умеешь работать — вставай к плите. Но что делать той, которая уже привыкла и к соперничеству с мужчинами, и к высокому социальному статусу?..

В той профессиональной нише, которую занимает Елизавета, успех приходит не к самым умным, а к самым беспощадным, что в тексте отражается резкими, конфликтными диалогами и компактными описаниями действий. О чувствах других людей Лиза размышляет исключительно в «рабочем» контексте — такова специфика ее деятельности. Мы не увидим здесь пространных описаний. Они необходимы лишь для создания обстановки, в которой происходит действие. Короткие и емкие фразы, отточенный слог. Динамичное развитие сюжета. А за увлекательной историей — социальные проблемы, которые так или иначе вынуждены решать женщины, в какой бы стране ни разворачивались события. Гендерные стереотипы, возведенное в культ представление об успехе, борьба за власть, стирание границы между нормальным и недопустимым в достижении целей... В последней главе Лиза признается: «В последнее время я чувствую, что торгую частью своей души». Этот смелый роман помимо всего прочего вынуждает читателя подумать о собственном отношении как к личным финансам, так и о цене успеха. Единого мнения о книге мы не услышим, т.к. слишком уж от многих факторов зависит оценка читателя. Зато яркие эмоции от романа получит как читатель консервативно настроенный, так и более свободных взглядов. Автор прекрасно знает, чем закончится монолог девушки, дрогнет она, поддавшись эмоциям, или останется в бизнесе. Но оставляет концовку как бы открытой, допускающей вариативность развития событий. Этим Лиззи Блу «работает» на будущее своей героини. Дальше начнет-ся совсем другая история. Глядишь, и продолжение последует. Недаром так интригует читателя финальная фраза: «Я решила...».

Ольга ЕФИМОВА

Тираж 500 экз.
Отпечатано
в ООО «Вест-Консалтинг»,
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,
стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12.